

ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ

И

ЛИТЕРАТУРА

на опыте

РОССИИ и ГЕРМАНИИ

(СССР и ГДР)

ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ

И

ЛИТЕРАТУРА

на опыте

РОССИИ и ГЕРМАНИИ

(СССР и ГДР)

МОСКВА РУДОМИНО 1994

ВВК 47.2

Г.11

Госбезопасность и литература на опыте России и Германии (СССР и ГДР). М.: Рудомино, 1994. — 152 с.

Выступления Матгаса Брауна, Дёрда Дялоша, Александра Даниэля и др.

Кёльн: Фонд Генриха Бёлля (сост.), 1993 г.

Составитель: Фонд Генриха Бёлля

Редакторы

Е.В.Шукшина, Т.В.Громова

Художник

П.А.Сандомирский

В апреле 1993 г. в Москве состоялась конференция на тему «Службы госбезопасности и литература». На эту двухдневную конференцию Фонд Генриха Бёлля, Всероссийская библиотека иностранной литературы имени М.И.Рудомино и Культурный центр им. Гёте пригласили писателей, публицистов и историков из России и Германии.

Одновременно в Библиотеке экспонировались книги по этой теме, опубликованные в Германии и фотозэкспозиция, подготовленная при содействии общества Гавемана. Предлагаемая вниманию читателей документация вобрала в себя доклады, сделанные на конференции.

Брошюра издана также на немецком языке.

Мы благодарим всех авторов за любезно предоставленное право публикации выступлений. За поддержку проекта мы благодарим также Дёрда Дялоша и Сергея Случа.

4702190400

Г — Без объявления

476(02) — 94

ISBN 5-7380-0062-2

© Фонд Генриха Бёлля (сост.) Кёльн, 1993

Лев КОПЕЛЕВ Жандармы и музы

Некогда, в давние времена, деспоты бывали последовательны и откровенны. Император Цинь Ши Хуан Ды, велевший построить Великую Китайскую Стену, приказывал убивать всех писателей и философов. Султан Сулейман повелел сжечь Александрийскую библиотеку, он был убежден, что достаточно одной книги — корана. Эти создатели великих держав полагали, что для укрепления государства грамотеи, в лучшем случае бесполезны, но могут быть вредны и опасны; ведь те, кто сочиняют песни и повествования, считают себя избранниками богов, послушны музам, а не земным властям.

Но уже и в древности встречались менее последовательные государственные деятели, которые хотели, чтобы поэты и художники, ваятели и мудрецы служили им, прославляли их и их предков, украшали их царствование, создавая памятники и легенды в назидание потомкам.

Случалось не раз, что государственные и политические деятели сами претендовали на служение музам. Нерон считал себя великим артистом, шотландская королева Мария Стюарт сочиняла стихи, современница Фридриха, немецкая княжна, ставшая русской императрицей Екатериной II, писала по-русски нравоучительные пьесы, ее внук, царь Николай I благосклонно обещал Пушкину: «Я буду твоим цензором», и выполнял это обещание с помощью шефа жандармов Бенкендорфа.

По мере того, как росли претензии государства на полновластие и на безоговорочное подчинение умов и душ, росло значение жандармов и тайной полиции в культурной жизни общества. Государства нового времени уже не могли основываться только на материальных силах, на мышцах рабов и воинов, на вооружении своих армий и на богатстве своих сокровищ. Необходимыми становятся идеологии, такие представления об окружающем мире, о судьбах народов, о добре и зле, которые уже не допускают никаких иных авторитетов, кроме властей, иных толкований, чем те, что исходят от вождей, правителей, законоучителей.

Сталинские жандармы превзошли всех своих предшественников и современников, и по количеству, и по губительности «идеологических» вторжений в культурную жизнь. Фуше и Бенкендорф были скромными дилетантами по сравнению с Ягодой, Ждановым, Ежовым, Семичастным и Андроповым. Рядом с этими

многоопытными вершителями «партийного руководства культурой» кажутся грубыми халтурщиками гестаповцы, которые жгли на площадях книги, пытали и убивали писателей. Советские жандармы кроме того еще и «воспитывали инженеров душ»; одних сажали, калечили, убивали, других награждали орденами, сталинскими и ленинскими премиями, чествовали, как «героев соцтруда».

Воздействие «органов безопасности» на духовную жизнь советских граждан еще долго будут исследовать историки, психологи, социологи, криминалисты. В этом сборнике представлены первые опыты таких исследований. Однако уже сейчас можно убедиться в том, что как ни старались ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ, как ни направлял «культур-чекистов» главный идеологический штаб ЦК-РКПб-ВКПб-КПСС, все же им не удалось полностью подчинить себе духовную жизнь народов, не удалось создать свою особую «советскую социалистическую культуру».

После крушения национал-социалистической империи Томас Манн укорял тех немецких писателей, которые оставались на родине, и даже что-то публиковали. Томас Манн утверждал, что подлинная немецкая культура в течение двенадцати нацистских лет была в изгнании. Примерно так же рассуждают сегодня и некоторые наши соотечественники, полагающие, что на продолжении семидесяти лет Россия и все смежные с ней края были погружены в трясину, в непроглядный мрак, ведь советские литераторы были безнадежно отрезаны от всего окружающего мира, от бывших соотечественников, ставших изгнанниками.

Такое представление полностью совпадает с тем, как Сталин, Жданов и пр. пытались отгородить «соц. культуру» России от духовной жизни мира. Антикоммунистический «изоляционизм» по существу тождествен коммунистическому только с обратным знаком. Ведь не только А. Ахматова, Б. Пастернак, М. Пришвин, Вс. Иванов, М. Булгаков, А. Платонов, Арсений Тарковский, К. Паустовский жили и творили все эти годы в России. Ведь и более молодые В. Аksenov, Б. Ахмадулина, А. Битов, Г. Владимов, В. Войнович, А. Галич, Ф. Искандер, В. Некрасов, Д. Самойлов, А. Синявский, Б. Слуцкий, А. Солженицын, А. Твардовский и вовсе учились в советских школах и вузах, некоторые даже были искренними комсомольцами, коммунистами.

Нет, только «за бугром» в кружках и в издательствах политических эмигрантов сохранилась и развивалась культура народов России, Советского Союза, Германии, Польши, Чехословакии...

Так было всегда. Державы рушатся, а народы живут; идеологии иссякают, партии исчезают, но бессмертно Слово, бессмертен дух национальной культуры. Об этом свидетельствуют и работы, представленные в нашем сборнике.

Каттинка ДИТТРИХ ВАН ВЕРИНГ,
директор Культурного центра им. Гёте

Вступительное слово

Уважаемые дамы и господа!

Мы выбрали для своего обсуждения как сложную, так и важную тему: госбезопасность и литература. Органы безопасности в бывшем СССР, как и в бывшей ГДР были неотделимой частью диктатур в этих странах. Изучение способов, методов действия КГБ и «штази», а также их влияния на литературу, публицистику, на авторов и читателей относится к практическому осмыслению истории этих диктатур в обеих наших странах. Это болезненная и трудная тема. Наш семинар является началом проведения русско-немецких параллелей. При этом наряду со сходством наверняка обнаружится и много исторически обусловленных различий, которые были определены благодаря работе «ведомства Гаука» в новых землях. Мы должны будем коснуться множества вопросов, на которые нельзя ответить просто с помощью «да» или «нет», «плохо» или «хорошо», «белое» или «черное». Например, были ли надзираемые публицисты, эссеисты и писатели только «жертвами» или также «преступниками»? Возможно ли было вообще надзираемое писательство, или такие писатели были неотделимой частью подцензурного общества? Какие компромиссы можно назвать оппортунистическими, какие — спасительными? Что значит компромисс в контексте ситуации, в которой тогда находилось общество? Напрашиваются и многие другие вопросы.

Я рада, что этот семинар организован по инициативе Фонда Генриха Бёлля и при сотрудничестве Всероссийской Государственной Библиотеки Иностранной Литературы, с которой мы сотрудничаем уже давно. Я хочу сердечно поблагодарить авторов, публицистов, политиков за согласие принять участие в обсуждении этой темы.

Элизабет ВЕБЕР
(Фонд Генриха Бёлля)

Вступительное слово

Я приветствую Вас
от имени Фонда Генриха Бёлля!

Библиотеку иностранной литературы и Институт Гёте вы, вероятно, знаете все, а вот Фонд Генриха Бёлля известен вам, наверное, меньше, поэтому позвольте мне его вам представить.

Фонд Генриха Бёлля был основан в 1987 году семьей и друзьями покойного писателя в Кёльне. Задачи, которые ставит Фонд, это, во-первых, издание его сочинений, их научное изучение и сбор их переводов. Во-вторых, содействие развитию современного искусства и художникам, поддержка общественных проектов, в первую очередь в таких областях, как права человека, экология, история, а также работ в этих областях и в сфере культуры.

В 1989—1990 годах рухнула берлинская стена, произошло объединение Германии и круг друзей Фонда Генриха Бёлля пополнился соратниками из рядов демократической оппозиции бывшей ГДР.

В 1988 году партия «зеленых» признала нас в качестве близкого ей по духу, но независимого от партии Фонда. Это дает нам право претендовать на определенную сумму дотаций со стороны государства, что является весьма специфической конструкцией законодательства ФРГ, столь сложной, что я не буду сейчас все это объяснять. Упомяну только о таком важном моменте, как обязанность отчитываться о всех деньгах, которыми мы располагаем. Так что мы финансируем нашу работу, с одной стороны, из этих государственных денег, а с другой — из пожертвований членов и друзей Фонда.

Таким образом, в политическом плане мы чувствуем себя связанными с «Союзом 90», «зелеными», но в первую очередь мы — независимый Фонд, задача которого — пропаганда творчества и идей Генриха Бёлля.

Во-вторых, я хотела бы сказать несколько слов о нашем сотрудничестве с друзьями из Восточной Европы. Как в свое время у Генриха Бёлля, так и у многих членов Фонда, носящего его имя, есть немало друзей в Восточной Европе. Вы, вероятно, знаете, что сам Генрих Бёлль посещал многих русских писателей и диссидентов, что он очень любил русскую литературу, что он приютил у

себя Солженицына и что его друзьями были Лев Копелев и его жена Раиса Орлова. Лев Копелев один из основателей Фонда. Первыми русскими друзьями, с кем начал в конце 1988 года сотрудничать Фонд Генриха Бёлля, были члены тогда только что образовавшегося общества «Мемориал». В то время мы помогли им, например, сделать фильм и выставку о пакте Гитлера-Сталина. Мы провели совместную дискуссию, обменявшись опытом по изучению одной из диктатур. Много внимания уделяли людям, ставшим жертвами Гитлера и Сталина, жертвами обеих диктатур, — так называемыми «остарбайтерами». А после были и другие проекты — в области экологии, гуманитарная помощь. Но в центре внимания оставались вопросы истории, взаимосвязи истории, прав человека и демократии, ибо мы всегда помним слова Генриха Бёлля: «Человек и общество без памяти — больны». Наше сотрудничество всегда было плодотворным, и, как я думаю, оно и сегодня очень важно для обеих сторон.

Следует сделать одну оговорку. До 1990 года было относительно ясно, что есть жертвы, пострадавшие от обеих диктатур, — «остарбайтеры», выданные коммунисты, поляки, Прибалтийские государства — и что мы всем им сочувствуем. Но в конечном счете за Гитлера несли ответственность западные немцы, а за Сталина — русские. Несмотря ни на что, мир представлялся относительно упорядоченным. Это изменилось, когда произошло объединение обеих Германий. Вдруг оказалось, что сталинизм и сведение счетов со сталинским прошлым было и есть часть жизни нашего воссоединенного общества, и это привело и по сей день приводит в смятение нас, западных немцев.

Я перехожу к последнему вопросу: ради чего мы проводим эту конференцию? Когда мы в свое время размышляли над ее идеей, то думали, что это интересная тема. Сейчас же, незадолго до референдума о Ельцине, мы, когда ехали сюда, спрашивали себя, не потеряется ли наша конференция на фоне здешних огромных проблем. Я думаю, что все мы, приехавшие сюда, сознаем, что успех политики реформ, экономической реформы, построение правового государства имеют тут куда более важное значение. Но, несмотря на это, мы убеждены, что без раздумий о внутреннем состоянии общества, об его нравственной субстанции, о душах, искаленных диктатурой, не наступит и нравственного оздоровления общества. Я думаю, это была одна из больших проблем, волновавших Генриха Бёлля. В нашей стране влияние госбезопасности на литературу является одной из тем общей дискуссии о нравственной субстанции нашего общества. Литература всегда представлялась нам чем-то чистым, независимым, сопротивляющимся — чем-то, что по самой своей сути может противодействовать диктатуре и давать ей отпор. Теперь же мы видим, что были

у нас писатели-шпики, что доносительство, предательство и подкуп были распространены и среди писателей. Poleмика об этом и то, что она для нас значит, разводит в разные стороны вчерашних друзей и стирает очертания политических и эстетических фронтов и у нас, в Западной Германии.

Мы привезли с собой ряд книг на эту тему и хотели бы устроить из них небольшую выставку, чтобы показать, насколько жгучим является этот вопрос в наших дискуссиях. Мы хотели бы рассказать о том, что стало нам известно из этих дебатов, и услышать то, о чем узнали вы. Мы надеемся, что наша совместная дискуссия поможет нам продвинуться вперед в поисках правильного соотношения между раскрытием, разоблачением и разрушением старого и прощением, созданием нового. Я благодарю обоих организаторов конференции и желаю нам успеха в нашей работе.

Вольфганг УЛЬМАН
Место государственной безопасности в системе диктатуры СЕПГ

Вопрос о месте диктатур XX века в истории просвещения

Думается, что сейчас самое время для обсуждения вопроса, какое, собственно, место занимает мандельштамовский «век-волкодав» в истории просвещения, во всем контексте культуры просвещения и эмансипации. И разве Москва не самое подходящее место для обсуждения этого вопроса, для поисков первых ответов на него? А судьбы столь многих русских писателей — назовем здесь хотя бы имена Мандельштама, Бабеля, Цветасвой, — разве не напоминают они о той смерти от рук палачей, что постигла Джордано Бруно или Лучилио Ванيني? А унижительный, продиктованный угрозами, отказ Пастернака от Нобелевской премии — разве не должны мы сравнить его с отречением Галилея от системы Коперника?

Но в наш век не только философы и физики, а именно поэты оказываются жертвами насильственных действий режима, который считает слово столь опасным, что может реагировать на него только методом жесточайшего подавления. Правда, ничего странного в этом нет. Искусство — это всегда политическая власть. Ведь оно является одним из необходимых выражений человеческой свободы. А то, что свобода — это будто бы только свобода духа или воли и может существовать как таковая сама по себе, представляет собой одно из глубочайших заблуждений чудного реализма и потому тиранизирующего ее идеализма. Свобода должна выражаться физически и чувственно. В самой сути своей человеческая свобода — это язык, потому что язык суть всеобъемлющее выражение свободной, подлинной и не подчиняющейся какому-либо диктату жизни.

Во имя этой свободы необходимо твердо придерживаться концепции просвещения как первой предпосылки ответа, независимого от идеологии. Ссылки на «диалектику просвещения», а то и заявление о кончине последнего вместе с концом утопий в пору так называемого постмодерна не должны сбивать нас с толку. Ибо всем лозунгам такого рода недостает ясного сознания одного из главных признаков нашей эпохи — факта возникновения двух диктатур, которые соперничают друг с другом именно потому, что обе они, впадая в иллюзию, рассматривают себя как мировые

системы. Нацисты вели борьбу с Советским Союзом как с центром мирового коммунизма, а Советский Союз, в свою очередь, боролся с национал-социализмом как с последней и самой преступной стадией мирового капитализма.

Как на базе такой антиномии вообще могла сложиться антигитлеровская коалиция — это один из многочисленных парадоксов нашего хаотического века. Но этот парадокс является не только одним из доказательств иллюзорности безраздельно господствовавшего до 1989 года стереотипа о якобы всемирном конфликте систем. Теперь-то мы видим: эта бинарная система ориентации есть продукт разложения. Когда высшие ценности, по известной сентенции Ницше, обесцениваются, то они вовсе не оказываются, как это ничтоже сумняшеся столь охотно утверждают сегодня в нашем открытом обществе, на так называемой свалке истории и отнюдь не освобождают тем самым нас от всех проблем. Нет, сама эта антиномия есть один из симптомов процесса разложения, где некогда разумные традиции социализации, саморазрушаясь, способствуют росту раковой опухоли систем. Неудержимое разрастание этих систем и держится как раз на том, что они обладают сопротивляемостью к любому воздействию общественной реальности, даже и тогда, когда исчезает историческая основа их существования.

На этом фоне идея просвещения видится необратимой. Посему она становится первой предпосылкой для созвучного историческому моменту и расширяющему наше чувство реальности ответа на вопрос о культурном контексте диктатур этого века.

Нужно назвать еще и другие минимальные требования к такому ответу, а именно: такой ответ должен положить в основу уровень наших знаний после обнародования документов «штази», начавшегося в прошлом году.

Его критерием должно служить наше понимание того, что права человека неделимы. Нарушения прав человека диктатурой Пиночета или хунтой аргентинских офицеров существуют в ином историческом и социальном контексте. Но само понятие прав человека должно быть одним и тем же, когда мы говорим о КГБ или «штази».

Ответ, о котором у нас идет речь, может быть найден только тогда, когда едино будут действовать все народы — в духе демократии Объединенных Наций, на которую нацелены те места в преамбуле Устава ООН, где говорится об отказе от применения силы за исключением тех случаев, когда она применяется в интересах всех.

Уровень наших знаний после обнаружения документов МГБ ГДР

Истекший год с лишком дает возможность подвести первые итоги. На вопрос «Что узнали мы из этих документов?» Мы можем дать ответы, носящие уже не только предварительный характер.

В первую очередь нужно подчеркнуть следующее: Принятое 7 декабря 1989 года решение «круглого стола» о роспуске МГБ было правильным, потому что оно было необходимым. Для государственной власти такого рода нет места в демократии, для условий существования которой нужно сопротивление любым политическим разновидностям диктатуры.

Во-вторых: хотя в Берлине и в других городах присутствие МГБ ощущалось каждодневно, но только его роспуск и изучение документов показали: это учреждение, насчитывавшее свыше ста тысяч сотрудников, само по себе еще не является государством, но оно — армия, существующая наряду с официальной. Утверждали, что ГБ всего лишь часть исполнительной власти, одно из министерств в составе Совета министров. На самом деле ГБ была самостоятельной силой, благодаря которой партия играла свою «руководящую роль».

Только после роспуска МГБ произошло ее подлинное устранение. Я хорошо помню, как я лично осознал всю важность роспуска МГБ. Председатель Совета министров Модров поручил проведение этого дела юрисконсульту одного сельхозкооператива по фамилии Кох и выделил ему 20 сотрудников. Сравните с этим количеством число в 3500 сотрудников, которых бундестаг ФРГ предоставил в распоряжение Ведомства федерального уполномоченного по изучению документов МГБ ГДР! Поэтому я тогда же, в январе 1990 года, будучи заместителем председателя организованной «круглым столом» рабочей группы по безопасности, заявил господину Коху, что первое, что ему следует сделать, это подать господину Модрову заявление о своей немедленной отставке, поскольку тот выделил ему такой штат, словно речь шла о ликвидации какого-то хозяйства размером чуть выше среднего.

Масштаб этого учреждения связан с его искаженным отношением к реальности, со свойственной ему иррациональностью. Формулировки присяги и обязанностей, структуры речи и приказов носят однозначно военный характер. Даже шоферы и уборщицы имели воинские звания. А вся деятельность была сконцентрирована на боевых акциях в некоей мнимой войне, являвшейся мнимой как раз потому, что ею постулировалось наличие противника, который действовал по тем же принципам. Совершенно очевидно, что тут все еще сохранял свое действие тезис Сталина об обострении классово-борьбы.

Но бесчеловечно абсурдной эту войну делало то, что истинным противником в ней был собственный народ, ставший мишенью установлений на границах ГДР самострельных устройств, а в так называемых «оперативных разработках» МГБ — объектом того, что обнародованные ныне документы называют «разложением». Это была милитаристская бюрократия, подчинявшаяся абсурдным законам «Процесса» Кафки.

Сюда же относятся и должны быть упомянуты как последний результат обнародования документов масштабы подрывной деятельности по разложению оппозиции изнутри. «Неофициальный сотрудник» СГБ Ибрахим Бёме стоял во главе вновь образованной в ГДР Социал-демократической партии Германии; «неофициальный сотрудник» де Мезьер возглавлял вышедший из Национального фронта Христианско-Демократический союз, а «неофициальный сотрудник» Кирхнер был в ней же генеральным секретарем; «неофициальный сотрудник» Шнур до его разоблачения являлся ведущей фигурой «Демократического прорыва»; председатели финансового и экономического комитетов (ХДС и СВДП) тоже были «неофициальными сотрудниками»... Можно ли считать это случайным?

Та же картина наблюдается на литературной сцене андергрунда: вновь на ней появляется в качестве центральной фигуры Ибрахим Бёме. Рядом с ним стоят крупные писатели Андерсон и Шедлински, первый из которых являет собой выдающийся и пугающий пример как своей литературной значимости, так и своей конспиративной энергии.

Но самым убийственным результатом обнародования документов «штази» является открытие, что почти все разоблаченные шпики погрязли во лжи. Как глубоко зашла нравственная деградация тех, кто сотрудничал со «штази», видно из ответа Ибрахима Бёме на вопрос, почему же он все отрицал: «Если сознаешься — пропадешь!» Этот феномен нерасторжимой связи, своего рода сделки человека с дьяволом — разве не вынуждает он поставить диагноз, что обстановка доходящей до абсурда конспирации порождена таким состоянием общества, которое скорее всего соответствует ницшеанскому анализу нигилизма?

Политический и культурный аспект бюрократии секретной службы.

Нравственная деградация

В этом контексте поведение Андерсона и Бёме типично для среды искусства, жившего в условиях, которые диктовало МГБ.

Надежда Мандельштам так описала этот феномен в своих «Воспоминаниях»:

«Третья и самая опасная разновидность называлась у нас «адьютанты». Это литературные мальчики — в академической среде аспиранты — с самым активным отношением к стихам, знавшие наизусть все на свете. Чаще всего они впервые приходили с самыми чистыми намерениями, а потом их завербовывали. Некоторые из них открыто признавались О. М. <...>, что их «вызывают и спрашивают». После таких признаний они обычно исчезали. Другие тоже вдруг, ничего не объясняя, прекращали к нам ходить. Иногда через много лет я узнавала, что с ними произошло, то есть как их вызывали. Так было с Л., о котором я узнала от Анны Андреевны. Он не решился прийти к ней в Ленинграде и нашел ее в Москве. «Вы не представляете себе, как вы просвечены», — сказал он. Обидно, когда вдруг таинственно исчезает человек, с которым завязалась дружба, но, к несчастью, единственное, что могли сделать честные люди, — это исчезнуть, иначе говоря, отказаться от звания «адьютанта». «Адьютанты» же — это те, кто служил двум богам сразу. Любви к стихам они не теряли, но помнили, что сами они тоже литераторы или поэты и пора уже напечататься и как-то пристроиться в жизни. Именно этим их обычно соблазняли. Близость, дружба, любые отношения с Мандельштамом или Ахматовой никакого пути в литературу не открывали; зато чистосердечный рассказ о каком-нибудь — невиннейшем, конечно, разговоре, который велся у нас вечером, — и «адьютанту» помогут проникнуть на заветные страницы журналов.

В какой-то критический момент литературный юноша сдавался, и у него начиналась двойная жизнь».

Но Бёме и Андерсон были нечто большее, нежели просто «адьютанты». Андерсон — потому что он сам заметный писатель, Бёме — потому что он являлся политической фигурой, баллотировался на выборах 18 марта и был кандидатом в премьер-министры, так что оба они — актеры широкого профиля.

Эти человеческие типы иллюстрируют нечто совершенно иное, нежели излюбленные трактовки политической системы, неотъемлемой составной частью которой, как мы теперь знаем, была бюрократия секретной службы.

Догматизм и культ личности как всего лишь разграничительные формулы

Сталина обвиняли в «догматизме». Но сталинская работа «Марксизм и вопросы языкознания» (1950) ликвидирует схему «базис — надстройка», утверждая, что язык не является ни базисом, ни надстройкой, и пропагандирует победу национальных языков.

Здесь уже предопределена программа красно-коричневых, включая и антисемитизм.

Такова же ситуация и с характеристикой «сталинизма» как «культы личности». Идеологическая диктатура Ленина была не менее тотальной, нежели диктатура Сталина. Речь ведь идет в первую очередь не о личной диктатуре, а об идейном руководстве, каковое прямо-таки в классической форме представляет собой пресловутый сталинский «Краткий курс».

Апории политической философии

На этот феномен, уже многожды указывали виднейшие представители политической философии нашего века. Например, Карл Шмитт в своей вышедшей в 1921 году книге о диктатуре, объясняет, что коммунизм с его «диктатурой пролетариата» как категория суть нечто иное, нежели все известные примеры диктатуры от античности до Нового времени. Ибо коммунистическая диктатура — это что-то вроде «историко-философской диктатуры», установленной с единственной целью — содействовать рождению новой исторической эпохи.

Здесь верно сформулировано значение идеологии, но еще не выявлены социальный аспект и тыловое обеспечение этого нового вида диктатуры.

Сделано это было уже в работе Х. Арендта «Элементы и истоки тотального господства» (1955). Здесь комбинация идеологии и террора осознана как новая форма государства, отторгнутая от реальности, где в результате «песчаной бури», погребаящей все гражданское общество, потеряна личность, что делает очевидной неполноту всех традиционных определений диктатуры.

Но и здесь больше дается оценка результата, а не содержания. В чем же заключается содержание? Ответ на этот имеющий решающее значение вопрос дает

Роль искусства в срывании масок с секретных служб

В старой «Большой Советской Энциклопедии» сталинских времен есть статья о Достоевском. С одной стороны, в ней звучит преклонение перед великим писателем. С другой — резкая критика, радикальное неприятие романа «Бесы» как клеветы на социализм и революционеров.

Это связывают обычно с Шигалевым, с его чудовищной программой, согласно которой абсолютная свобода одной десятой человечества должна быть куплена полным порабощением остальных девяти десятых. Но ведь это всего лишь сатира на обочине

романа. А сама его суть заключается в другом — в раскрытии «центральности» Ставрогина, от которого зависят Петр Верховенский и его группа. Но Ставрогин неотделим от новохристианского язычества Шатова и от нигилистической идеи «сверхчеловека» Кирилова. Причиной «центральности» является растление Ставрогиным малолетней — кощунственный и антиномический акт, делающий соучастниками всех персонажей романа.

«Центральность» есть предпосылка диктатуры секретной службы — вот к какому выводу приходишь, применив анализ Достоевского к общественному базису секретных служб.

Совсем иная ситуация «центральности» является темой «Мастера и Маргариты» Булгакова. Историческая иллюзорность отрицания существования Иисуса, берущего свое начало с Ленина еще в 1921 году, нашла свое воплощение и опровержение в этой многоплановой фантазмагории.

Написанное Мандельштамом в 1934 году антисталинское стихотворение разоблачает тиранию, говорящую языком палача и заставляющую в конечном счете умолкнуть в физических мучениях любую речь:

*Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугам полулюдей ...
Как подковы, кует за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него, то малина,
И широкая грудь осетина.*

И, наконец, — «Erreg si muove!»* Пастернака в «Докторе Живаго». Этот роман — решительная атака на некомпетентность революции в делах жизни. Революция утверждает, будто история есть некий управляемый механизм и движется она соответственно этому. Нет, говорит поэт, в действительности движутся живые люди, столь же уникальные, как Мария Магдалина в Страстях Иисуса. Это и есть образ того, насколько человек бесконечно выше

* «И все-таки она вертится» (итал.)

своей судьбы (Паскаль). Искусство возвращает нас к реальности из диктатуры иллюзии, лишь симулирующей жизнь. А секретные службы — это ничто иное как главный инструмент для поддержания «центральной» в духе сталинского тезиса об обострении классовой борьбы.

В заключение я попытаюсь ответить на вопросы, содержащиеся в письме-приглашении.

Я убежден, что госбезопасность не подавала идей литературе, а пропитывала ее. Это подтверждают, каждый по-своему, Андерсон и Шедлински. Ибрахим Бёме хотел подать идею, когда он предпринял попытку, как свидетельствует один отчет «штази», заменить самиздатским журналом «Контекст» арестованный журнал «Гренцфаль». Только из этого ничего не вышло, потому что акция против «Гренцфалья» потерпела фиаско, а «Контекст» оказался неподходящим для его планов. Речь тут шла о «сопричастности» ГБ — чуть ли не любой ценой. И это сильно напоминает попытку Мильке, что документально зафиксировано его последними распоряжениями, представить крах системы СЕПГ как якобы ею же самой «инспирированную перемену».

Были ли писатели жертвами? Да — но тогда, как в случае с Андерсоном, они явились жертвами собственных иллюзий и утраты чувства реальности. Сказалось ли воздействие ГБ на творчестве? Да — оно сказалось, и это видно, когда сравниваешь Бертольда Брехта, Уве Йонсона и Крису Вольф.

«Немецкое мизерере» Брехта — это еще послевоенная литания против войны на сцене, открытой взорам народов.

«Предположения насчет Якоба» Йонсона превращают вокзал в провинциальном городке в полустанок на пути в никуда.

Наконец, Криста Вольф в своей повести 1979 года «Нет места. Нигде» свела это к кратчайшей формуле. Оба героя, Клейст и Грюндероде, являются историческими символами ухода из жизни и от самих себя. И роспуск «штази» тоже был шагом туда же. Но как же получается, что нет места нигде?

Пусть ответом прозвучат строки из стихотворения Анны Ахматовой «Путем всея земли»:

*От старой Европы
Остался лоскут,
Где в облаке дыма
Горят города...*

И эти ностальгические строки тоже свидетельствуют о силе искусства, говорящего всю правду. Об эту силу, об эту свободу разобьются в конечном итоге все секретные службы мира.

Ефим ЭТКИНД
«Госстрах» в литературе

Вскоре после XX съезда Ольга Берггольц с отчаянием написала, обращаясь к потомкам:

*Нет, не из книжек наших скудных,
Подобья нищенской сумы,
Узнаете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы;*

*Как мы любили трудно, грубо,
Как ошибались мы, любя,
Как на допросах, стиснув зубы,
Мы отрекались от себя...*

О допросах О. Берггольц писала не понаслышке: в 1938 году она, в то время жена поэта Бориса Корнилова (его расстреляли по обвинению в «КТРД»), была арестована, и ленинградский следователь НКВД бил ее сапогами в живот; она родила мертвого ребенка. Почти через 20 лет после этой трагедии, в 1956 году, Ольга Берггольц, уже прославленный поэт и героиня блокады, произнесла вслух строки, которые давно шептала про себя: «... как невозможно жили мы». Напечатать их удалось только еще тридцать лет спустя, через пятнадцать лет после ее смерти (да и то сперва во французском и немецком переводах). Умерла же Берггольц в 1975 году — ее свела в могилу долгая болезнь, алкогольное отравление. Удивительно ли это? Десятилетиями она таила в себе то, чего не могла произнести — прошло полвека, прежде чем люди узнали, что она хотела им сказать от имени своего поколения. Алкоголизм — общая и тяжелейшая болезнь всего поколения — был вызван сходными причинами; А.Т. Твардовский так и не смог опубликовать — даже располагая собственным журналом — поэму «По праву памяти», посвященную судьбе отца и российской деревни, о которой он поведал с искажениями, вызванными временем и иллюзиями в «Стране Муравии». Ему, обреченному на молчание, оставался привычный в России выход, который вел к преждевременной смерти или самоубийству.

Размышляя об отражении советской Тайной полиции в литературе за 75 лет, историк оказывается перед редчайшим в истории

мировой словесности случаем — редчайшим, если не единственным. Политический центр социального бытия, постепенно превратившийся в постоянное переживание каждой отдельной жизни, укреплявшийся с каждый десятилетием в течение более чем полувека («Госстрах»), — в литературе этот центр бытия не фигурировал. Писались бесчисленные романы, драмы, поэмы, объединенные маскировочным понятием «социалистический реализм», и они ухитрились пройти мимо того, что стало главной чертой советской действительности. В каждом значительном городе высились облицованное гранитом загадочное и неприступное здание, которое называли «Большой дом» и о котором ходили зловещие легенды; шепотом рассказывали о подземельях, где пытаются и газнят, о канализационных трубах, по которым стекают потоки крови, о фургонах, увозивших по ночам штабеля трупов. Однако в путеводителях эти здания, важнейшие в городе, не упоминались; в романах и драмах для них не находилось места. Легенды жили сами по себе, литература их воспринять не могла. Впрочем, самые неправдоподобные фантазии порою подтверждались; автору настоящих строк пришлось наблюдать, как облицовывали ленинградский Большой дом (кстати сказать, построенный по проекту архитектора Ноя Троцкого, содержавшегося в то время в Шпалерной тюрьме, то есть в том же ленинградском НКВД) гранитными плитами надгробных памятников, с которых камешки — на глазах у прохожих — сбивали надписи: «генерал от инфантерии...» или «тайный советник...» Об этом не писали ни Кочетов, ни Фадеев, ни Симонов, ни даже Вера Панова или Юрий Герман. Стержень человеческого существования, сердцевина нашей жизни были фантомом, словно мы их видели во сне: реальностью же оказывались позолоченные статуи сельскохозийственных выставок, аллегорические фигуры Веры Мухиной, неоготические соборы вроде Московского университета или гостиницы «Украина», — фантазмагорические уже хотя бы потому, что отель выдавал себя за храм, а на месте храма — национальной святыни — нагло утверждал себя монументальный плавательный бассейн. Режим высоко ценил монументальное искусство — архитектуру и скульптуру, они увековечивали мираж в материально осязаемой форме. А ведь все было миражем в этой необозримой стране, начиная с ее названия, герба, флага, гимна («Союз нерушимый республик свободных...»), кончая лозунгами на домах и в газетах, рекламой типа «Летайте самолетами Аэрофлота!» (как будто были другие...) и фотографиями доярок на первых полосах газеты с названием-миражем «Правда». В последние годы пишут о групповой поездке писателей по Беломорканалу и о коллективной книге, ими выпущенной; разве это так уж существенно? Беломорканал — лишь одно из звеньев цепи обманов. Увы, до сих пор

русские люди курят папиросы, носящие это название: они привыкли. Если бы немцы выпустили сигареты «Дахау» и «Треблинка», уж как бы мы негодовали! А тут привыкаем ко всему.

Так вот, Тайная полиция. Теперь мы знаем о ней кое-что — далеко недостаточно, но все же. Знаем, что ее задачей было — проникнуть в каждый дом, в каждую семью, в каждую компанию, где могли рождаться или обсуждаться политические мнения. Политикой же советский режим приучил считать любые проявления жизни. Знаем, что проникновение сквозь стены, крышу, пол осуществлялось и уполномоченными на то людьми, и записывающей техникой. Много лет мы отучались вести переписку, говорить по телефону, беседовать под потолком — и даже на скамейке городского парка, в ресторанах или такси. Сколько раз, для обсуждения довольно-таки невинных вопросов, друзья приглашали меня в места, казавшиеся безопасными — на кладбище, в лес, в поле. Знаем еще и то, что число сексотов («штази» их называла ИМ — Inoffizieller Mitarbeiter) было астрономическим (будут ли когда-нибудь обнародованы официальные данные — или слишком это страшно?): каждый пятый? или каждый седьмой? ГБ внедряла по сексоту в каждую коммунальную квартиру, студенческую группу, административную ячейку, социальную клетку, — а ведь таких единиц миллионы.

Человек, живший страхом, который угнетал его днем и ночью, унижал и развращал его душу, подрывал его доверие ко всем близким и далеким людям, такой человек стал другим существом, отличным от тех, о ком писали Толстой, Достоевский, Чехов, Бунин, Л. Андреев, Блок. Наше поколение — поколение людей, безнадежно клавших на телефонный аппарат подушку, ведущих дружескую беседу на портативных грифельных досках или сразу сжигаемых листочках бумаги, обменивавшихся новостями в ванной, под шум воды — наше поколение хорошо все помнит; оно прошло через прощальные вспышки революционной эйфории, окончившейся в 1930 году самоубийством Маяковского и гибелью нашего авангарда, последним отрядом которого были Обсриуты, истребленные сталинской полицией; оно прошло через ждановский террор, начавшийся в 1934 году и достигший апогея в 1946-м, через кровавый ужас 1937 и 1938 годов; через иллюзию «больших ожиданий» военных лет и первого послевоенного года; через постыдные годы антисемитских провокаций уже совсем обезумевшего и все еще обожествляемого Вождя; через последующие годы идиотской геронтократии, когда нами правили недоучки, дебилы и честолюбцы-мошенники. И все эти годы, весь этот огромный период, — более полувека, — объединен порою нарастающим, порою немного ослабевавшим (потому что он становился привычным) СТРАХОМ. И еще одним: проникавшей все глубже, все

безнадежнее в любую социальную клетку властью единомышленников-карьеристов, незаконно присвоивших себе название политической партии и фразеологию социализма; вооруженной охраной этой власти была ГБ, которая, как и охраняемая ею «партия», имела целью всепроникновение. Третья черта, определяющая этот более чем полувековой период, — неуклонная гибель гражданского общества, умирание его, удушаемого кольцами партийно-государственного удава.

Получил ли этот процесс сколько-нибудь адекватное отражение в литературе? В тридцатых годах он начал мистифицированное существование в романе Булгакова «Мастер и Маргарита», — опытное ухо улавливает в допросе, которому подвергается Иешуа Га-Ноцри, другие вопросы, в то время еще не ставшие достоянием гласности; чертовщина, в которой живет Мастер и которая разыгрывается Воландом, Коровьевым, Бегемотом, достоверна — она бесконечно более соответствует реальности, нежели идиллии, созданные Бубенновым, Павленко, Бабаевским, Кочетовым, или буколики Луконина, Грибачева, Софронова, Г. Маркова, Сурова, Первенцева. Правду советского социализма могли воссоздать, как это ни странно, произведения фантастические — к ним относится проза не только Булгакова, но и Платонова, позднее Абрама Терца и Николая Аржака; их всех объединяет то, что они писали, но советскому читателю оставались неизвестны много лет и даже десятилетий. Эти писатели творили литературу, лишенную тех читателей, для которых она была предназначена. История русской литературы XX века особая; почти каждое значительное произведение имеет даты, разделенные десятилетиями: дату написания вещи и дату ее прочтения в России (нередко имеется еще одна, промежуточная: дата появления книги на Западе, в т.н. Тамиздате, которой иногда предшествует Самиздат).

Все это в полной мере относится к «Реквиему» Анны Ахматовой, созданному в 1940 году (отдельные части — раньше), опубликованному за границей двадцать лет спустя, а в России — через пятьдесят. Закономерно, что первые прямые слова о советской Тайной полиции произнесены в поэзии, — она всегда оперативнее прозы. Ахматова назвала многое из того, что умалчивалось словесностью; образы этой поэмы выводят далеко за пределы ахматовского классического акмеизма — они не менее пугающе-экспрессивны, чем образы Маяковского: *«...ненужным привеском болтался / Возле тюрем своих Ленинград»*, или *«...если зажмут мой измученный рот, / Которым кричит стомиллионный народ»*. В поэме Ахматовой появились достоверные бытовые подробности террористической эпохи: женщины в очереди с передачами, черные «маруси», управдом, исполняющий роль понятого... Анна Ахматова дала истинный масштаб трагедии той страны,

древнее имя которой рифмуется с просторечным названием автомобиля, увозящего ночью арестованных: «русь» — «черных марусь»; она показала страдания русской женщины далекого прошлого: «Буду я, как стрелецкие жены / Под кремлевскими башнями выть» и современности, как единый исторический процесс.

Был у Анны Ахматовой далекий предшественник, стихи которого еще в начале двадцатых годов сказали правду о ЧК; в то время многие романтически превозносили героя-чекиста, — до них (например, Э. Багрицкого) и вопреки им Максимилиан Волошин создал стихотворение «Северовосток» — о российской истории, воплощенной в этом ветре:

*Вейте, вейте, снежные стихи,
Заметая древние гроба.
В этом ветре — вся судьба России,
Страшная, безумная судьба.*

*В этом ветре — гнет веков свинцовых,
Русь Малют, Иванов, Годуновых, —
Хищников, опричников, стрельцов,
Свежевателей живого мяса —
Чертогона, вихря, свистопляса —
Быль царей и явь большевиков.*

В книге стихов М. Волошина «О терроре» (Берлин, 1923) говорилось о единстве явной партии и тайной полиции («В комиссарах — дух самодержавья...» «Сыск и кухня Тайных Канцелярий...», прошлого и настоящего России («Бред разведок, ужас чрезвычайек», белого и красного ужаса («В тех и других война вдохнула / Гнев, жадность, мрачный хмель разгула...»). Впервые в них с бесхитроустой подлинностью, едва ритмизованными безрифменными стихами, сказано о катастрофе, к которой привела Революция Россию; это стихи о буднях чекистов, о Чрезвычайной комиссии, ставшей обыкновенной конторой убийств:

*Собирались на работу. Читали
Донесенья, справки, дела.
Торопливо подписывали приговоры.
Зевали, пили вино.*

.....
*Полминуты работали пулеметы.
Приканчивали штыком.
Еще не добитых валили в яму,
Торопливо заваливали землей.*

*А потом с широкой русской песней
Возвращались в город, домой.*

Стихотворение «Террор» завершается строками, в которых перемешаны свет и мрак, низменное и возвышенное, звериное и человеческое:

*А к рассвету пробирались к тем же оврагам
Жены, матери, псы.
Разрывали землю, грызли за кости,
Целовали милую плоть.*

После Волошина прошло десятилетие немоты. Анна Ахматова оказалась первой, кто ее нарушил. Удивительно ли, что она, как рассказала Л.К. Чуковская, сжигала все части своей поэмы, едва они только возникали и кто-то из друзей их запоминал? Поэма «Реквием», как уже сказано, появилась в России через полвека после ее окончания, побив все рекорды мировой литературы — рекорды пребывания под политическим запретом.

Значительно позднее «Реквиема» возникли другие поэтические произведения, так или иначе подводившие итоги сталинского тридцатилетия, о котором в 1956 году П. Антокольский писал:

*Мы все — лауреаты премий,
Врученных в честь него,
Спокойно шедшие сквозь время,
Которое мертво.*

*Все мы — его однопольчане,
Молчавшие, когда
Росла из нашего молчанья
Народная беда.*

*Таившиеся друг от друга,
Не спавшие ночей,
Когда из нашего же круга
Он делал палачей...*

К этим произведениям относятся горькие, часто безнадежные стихи Б. Слуцкого, обличающие и лагерный ад («Когда русская проза ушла в лагеря...»), и советский социализм в целом («Я строил на песке, и тот песок / Еще недавно мне скалой казался, / Он был скалой, для всех скалой остался, / А для меня растаял и потек...») — оба стихотворения 1953 г. Б. Слуцкий не отделял

полицейский террор от режима в целом, их и в самом деле нельзя отторгнуть друг от друга: спустя ровно сорок лет после приведенных строк Слуцкого мы это осознали со всей отчетливостью. Теперь, перефразируя Маяковского, мы бы могли сказать: «*Партия и ЧЕКА — близнецы-братья...*»

Тогда же родилось стихотворения Ильи Сельвинского «*Просидел в тюрьме семнадцать лет.*» (1953). Сельвинский — из тех советских литераторов, которые едва ли не больше многих других способствовали созданию миражей (достаточно прочесть его статью о Дзямбуле в «Знамени», 1946/8). Тем более важно, что именно он одним из первых произнес прямые слова о полицейском терроре «раннего реализма»: «*Просидел в тюрьме семнадцать лет. / На лице грибы, морщины, нити. / А потом позвали в кабинет: / «Недоразуменье, извините». // И пошел советский гражданин / / С абсолютно чистой анкетой. / А семнадцать прожитых годин / Растерялись, разметались где-то...*»

Ко времени уже после XX съезда относятся стихи Н. Заболоцкого, посвященные старикам-зекам, погибшим ни за что ни про что на лагерной работе: «*Где-то в поле возле Магадана, / Посреди опасностей и бед, / В испареньях мерзлого тумана / Шли она за розвальнями вслед.*» Эти «два несчастных русских старика» замерзли на пеньках, куда присели отдохнуть:

*Не нагонит больше их охрана,
Не настигнет лагерный конвой.
Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, став над головой.*

Большое значение имеет для Заболоцкого неизменно свойственный ему восторг перед вечной красотой Вселенной, торжествующей победу над бедствиями и, главное, злобой людей. За десятилетие до приведенного стихотворения, едва вернувшись из лагеря, Заболоцкий создал поэму «Творцы дорог» (1946), — в ней повествуется о труде заключенных; однако нет и намека на то, что люди, одолевшие природу Севера, — это униженные рабы, загнанные, изголодавшиеся зеки. Поэма начинается почти так же, как появившийся полтора десятилетия спустя «Один день Ивана Денисовича» Солженицына:

*Рожок поет протяжно и уныло, —
Давно знакомый утренний сигнал!*

Герой Солженицына вопреки всему испытывает радость труда, — он работает увлеченно, даже яростно. Иное увлечение — в поэме Заболоцкого:

*Покуда медлит сонное светило,
В свои права вступает аммонал.
Над крутизною старого откоса
Уже трещат бикфордовы шнуры,
И вдруг — удар, и вздрогнула береза,
И взвыло чрево каменной горы...*

После взрыва, после того, как «завыл, запел, взлетел под небо камень», появляются люди, — победители горы:

*Поет рожок над дальнею горою,
Восходит солнце, заливая лес,
И мы бежим нестройною толпою,
Подняв ломы, грамам наперерез.
Так под напором сказочных гигантов,
Работающих тысячами рук,
Из недр вселенной ад поднялся Дантов
И, грохнув наземь, раскололся вдруг.*

И следует гимн в честь человека, прославление его мысли, создавшей могущественную технику:

*При свете солнца разлетелись страхи,
Исчезли толпы духов и теней.
И вот лежит сверкающий во прахе
Подземный мир блистающих камней.
И все черней становится и краше
Их влажный и неправильный излом.
О, эти расколовшиеся чаши,
Обломки звезд с оторванным крылом!
Кубы и плиты, стрелы и квадраты,
Мгновенно отвердевшие грома, —
Они лежат передо мной, разъяты
Одним усиьем светлого ума.*

Око поэта — над толпами «духов и теней», из этой огромной высоты ему видна Вселенная, ее «отвердевшие грома», оттуда — только оттуда! — можно оценить силу человеческого духа, мощь мысли. С тех божественных высот не видны преходящие людские бедствия и неурядицы, не видны даже увечья, зло, смерть, — только вечная красота Природы и побеждающего ее ума!

*Под непрерывный грохот аммонала,
Весенними лучами озарен,
Уже летел, раскинув опахала,*

*Огромный, как ракета, махаон.
Сиятельный и пышный самозванец,
Он, как светило, вздрагивал и плыл,
И, вслед ему, неслись толпы созданий,
Подвесив тельца меж лазурных крыл...*

В последней части поэмы, третьей, снова появляются люди, «мы», те, кто творит дороги умом и руками:

*Здесь, в первобытном капище природы,
В необозримом вареве болот,
Врубаясь в лес, проваливаясь в воды,
Срываясь с круч, мы двигались вперед.
.....
Охотский вал ударил в наши ноги,
Морские птицы прыгнули из трав,
И мы стояли на краю дороги,
Сверкающие заступы подняв.*

Слабый человек сильнее своих мучителей, обладающих властью, в той же мере, в какой он сильней могущественной природы: его сила — свет ума, и еще одно: душа, позволяющая ему с восторгом увидеть озаренного весенними лучами махаона и «толпу созданий», которую так легко не заметить. Живое сильней мертвого, даже если оно, мертвое, кажется всемогущим. В стихотворении «Казбек» (1957) говорится о двуглавом гиганте, которому поклоняется Земля:

*Земля начинала молебен
Тому, кто блистал и царил.
Но был он мне чужд и враждебен
В дыхании этих кадил,
.....
У ног ледяного Казбека
Справляя людские дела,
Живая душа человека
Страдала, дышала, жила...*

Заболоцкий не написал в «Творцах дорог», что творцами были рабы; никакая цензура не пропустила бы даже упоминания о лагерях. Поэтому он и не сказал ничего о зеках? И потому тоже. Но поэма «Творцы дорог» отличается от романа В. Ажаева «Далеко от Москвы», где просто лагерная действительность ловко преобразована в социалистическую. Для Заболоцкого восхищение силою человеческого духа могущественней ужаса перед с

людьми лагерным адом. В этом восхищении — залог победы света над тьмой.

К поэтической поэзии Заболоцкого близок Ю.О. Домбровский, автор дилогии «Хранитель древностей» (1939—1965) и «Факультет ненужных вещей» (1964—1975). В этих книгах — картина антимира, законы которого управляют зримой реальностью, — а ведь люди обычно и не догадываются, какова их судьба и в чьих она руках. Домбровский описал будни учреждения, которое ничем не отличается от других советских контор — его сотрудники такие же лентяи и бездельники, выпивохи и карьеристы, сибариты и распутники, как и в других учреждениях; всеильные следователи и прокуроры, оперативщики и начальники лагерей такие же обыватели, как все другие бюрократы, и такие же холопы, как те, кто перед ними дрожит и пресмыкается. Характерен воображаемый диалог между энкаведистами и их жертвами:

«... Люди, не шарахайтесь от нас! Вот местком, вот профком, вот стенгазета — все у нас так же, как у вас.

Хорошо! А фальшивки? А то, что в ваших кабинетах по пять суток не дают спать? А карцеры — эти проклятые пеналы со сверкающими стенами, где вечно — день и ночь — лупят диким светом лампы с детскую голову, так что под конец начинают выходить из углов белые лошади, это что?

Да что вы, что вы, граждане! Как вам не стыдно даже верить эдакому? Не будьте же обывателями! Мы мирные люди и после работы ходим с семьями в концертный зал слушать знаменитого скрипача. Вот, познакомьтесь, пожалуйста, Валя, работница нашего отдела, жена моего товарища. Разве есть тут что-нибудь похожее на то, что вы говорите? Валя, а Валя? Ну, видите же, она смеется! Что вы, что вы, граждане?..»¹

Зловещая особенность советской действительности — именно это соединение обыкновенного учреждения с застенком, повседневности с апокалипсисом. Так же сливаются лагеря, в которых умирали терявшие человеческий облик зеки, со всей страной, в которой люди считали себя вольными гражданами, будучи «вольнорабочими» в бескрайнем «социалистическом лагере». Об этом слиянии и написал свою дилогию Домбровский, художник и острый аналитик. И все же люди у него не побеждены; затравленные и оплеванные, они сохраняют способность любить и думать, творить и полноценно жить — видеть ослепительный свет. Жуткому антимиру противостоит именно жизнь, как она проявляется во всем: в деревьях, в женской привлекательности, в красках и формах алма-атинского базара:

«В грузовиках арбузы. Они лежат навалом: белые, сизые, черные, полосатые. Над ними изгибаются молодцы

в майках и ковбойках — хватают один, другой, наклоняются через борт к покупателю и суют ему в ухо: — «Слышишь, как трещит? Эй! Смотри, борода, денег не возьму!» — с размаху всаживает нож в черно-зеленый полосатый бок, раздается хруст, и вот на конце длинного ножа трепещет красный треугольник — алая, истекающая соком живая ткань, вся в розовых жилках, клетках, крупинках и кристаллах».²

Существует это великолепие живой материи, эта пристальность нашего глаза, точность слуха, блеск живописующего слова, — и раз это все существует, то мрак будет непременно рассеян, уйдет в небытие, как дурной сон. А ведь тут же на базаре работал художник, который,

«примеривался, приглядывался и вдруг выбрасывал руку — раз! и на полотно падал черный жирный мазок. Он прилипал где-то внизу, косо, коряво, будто совсем не у места, но потом были еще мазки, и еще несколько ударов и касаний кисти, то есть пятен — желтых, зеленых, синих — и вот уже на полотне из цветного тумана начинало что-то прорезываться, сгущаться, показываться. И появлялся кусок базара: пыль, зной, песок, накаленный до белого звучания, и телега, нагруженная арбузами. Солнце размыло очертания, обесцветило краски и размыло формы. Телега струится, дрожит, расплывается в этом раскаленном воздухе».³

Все это видит Зыбин. В Большом доме его будут лишать сна и еды, издеваться над его умом и чувствами, унижать и оплевывать, но победа — за ним, он умеет видеть мир, понимать творчество, ценить мысль и красоту.

Почти одновременно с книгами Домбровского были созданы другие произведения прозы, раскрывшие перед нами скрытый до того антимир Тайной полиции; к ним относятся «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, «Колымские рассказы» В. Шаламова, «Место» Ф. Горенштейна. Называю лишь некоторые вещи, принадлежащие, к тому же, к разным литературным жанрам: роман, рассказ, «художественное исследование», роман-эпопея; большинство из них продолжает русскую традицию психологического реализма, обнаруживая изменения в человеке, его интеллектуальных и эмоциональных свойств под влиянием тюремно-лагерных условий и вечной, повсюду сопутствующей ему полицейской слежки.

Документально-художественным памятником эпохи с 1918 по 1956 год стала книга А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»; о ней написано мало, она остается неизученной — а ведь даже жанр, изобретенный для нее автором, заслуживает серьезного внимания.

Опираясь на собственный опыт арестанта и лагерника, а также на показания 227 свидетелей, собранные вскоре после выхода «Одного дня Ивана Денисовича», — в 1963 и 1964 годах — Солженицын создал книгу, которая содержит и то, что в прошлом веке назвали бы «физиологическим очерком» тюремно-лагерной действительности России, и множество персонажей, вместе представляющих особый аспект «советского общества», и философское обобщение времени. Одним из первых он заговорил о болезненности для всего народа, а в особенности для интеллигенции, проблеме соучастия и даже совиновности. О самом себе Солженицын способен, не обвиняясь, сказать, что и он «был вполне подготовленный палач. И попади я в училище НКВД при Ежове — может быть, у Берии я вырос бы как раз на месте?..» И ниже, уже в более общей форме:

«Завещал нам Сократ: познай самого себя!

И перед ямой, в которую мы уже собирались толкать наших обидчиков, мы останавливаемся, оторопев: да ведь это только сложилось так, что палачами были не мы, а они.

А кликнул бы Малюта Скуратов нас — пожалуй, и мы б не сплоспали!..

От добра до худа один шаток, говорит пословица».⁴

Это — важнейшее признание автора. Оно — итог его размышлений о природе человека, однако (и здесь это важнее) и о природе коммунистического режима, в котором злодейство оправдано идеологией. Солженицын рассуждает: «Идеология! — это она дает искомое оправдание злодейству и нужную долгую твердость злодею. Та общественная теория, которая помогает ему перед собой и перед другими обелять свои поступки и слышать не укоры, не проклятья, а хвалы и почет». И Солженицын приводит ряд исторических аналогий:

«так инквизиторы укрепляли себя христианством, завоеватели — возвеличением родины, колонизаторы — цивилизацией, нацисты — расой, якобинцы и большевики — равенством, братством, счастьем будущих поколений».⁵

Следует обобщение: «Благодаря Идеологии досталось XX-му веку испытать злодейство миллионное». В статье об «Архипелаге ГУЛАГ», озаглавленной «Небесная горечь Александра Солженицына» (1974), Генрих Бёльль цитировал эти строки, комментируя их так: «Мы видим убийственные последствия всякого идеологического оправдания»⁶. Для Бёльля это важно, в высшей степени важно: любое идеологическое оправдание для него в равной мере убийственно, в том числе и такое, на которое, не говоря об этом прямо, оказался способен и автор «Архипелага». Впрочем, единственное его открытое расхождение с Солженицыным сводится к тому, что для последнего МГБ хуже Гестапо; Бёльль восстает

против сопоставлений и выводов подобного рода, — можно ли представить себе сравнение между «пыткой из идеологических соображений и убийством из мировоззренческо-расистских?»⁷

Для Генриха Бёлля книга Солженицына важна прежде всего потому, что в ней «восстановлено достоинство, — достоинство почти бесчисленных человеческих существ, которых при унижающих это достоинство условиях охранники и следователи объявляют «нечистью» (Ленин) и низводят до этого состояния»⁸.

Рядом с книгой Солженицына существует другая — «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова. Обе дополняют друг друга, хотя в известном смысле они противоположны; Солженицын пишет об этом, цитируя Шаламова:

«В лагерной обстановке, — пишет Шаламов, — люди никогда не остаются людьми, лагеря не для этого созданы.

Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с мясом мускулов... У нас не было гордости, самолюбия, а ревность и страсть казались марсианскими понятиями... Осталась только злоба — самое долговечное человеческое чувство»⁹.

С точки зрения Шаламова, углубление и возвышение людей возможно только в тюрьме, лагерь же «отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего нужного, полезного никто оттуда не вынесет. Заключение обучается там лести, лганью, мелким и большим подлостям...»¹⁰

Солженицын, высоко ценя произведения Шаламова, спорит с ним — одним из его аргументов оказывается развитие самого Шаламова: «... ведь не стану же я доносить на других! ведь не стану же я бригадиром, чтобы заставлять работать других», — пишет Шаламов. Солженицын спрашивает: «Почему это вы вдруг не станете стукачом или бригадиром, раз никто в лагере не может избежать этой наклонной горки растления?.. Может, злоба все-таки не самое долговечное чувство? Своей личностью и своими стихами не опровергаете ли собственную концепцию?»¹¹ В отличие от Шаламова, Солженицын полагает, что «никакой лагерь не может растлить тех, у кого есть устойчивое ядро»¹². Однако он приходит к неожиданному выводу, что лагерь убийствен не для простого человека, которому невыносима именно тюрьма, а для интеллигента: «система ИТЛ с обязательным непомерным физическим трудом и обязательным участием в унижительно-гудящем многолюдии была более действенным способом уничтожения интеллигенции, чем тюрьма. Именно интеллигенцию система эта смаривала быстро и до конца».¹³

Важнейшая психологическая проблема — важнейшая для всей эпохи! Как отвечают на тот же вопрос авторы наиболее содержательных мемуарных сочинений — Е.С. Гинзбург, Л.З. Копелев, А.Д. Синявский, Артур Лондон? И этот, и другие вопросы требуют специальных изучений. Так или иначе, без рассказов В. Шаламова нельзя составить картины того, что было долгие годы незримой стороной советской действительности. Как и без только что упомянутой обширной мемуарной литературы, большая часть которой появилась в эмигрантских издательствах — в последние два-три десятилетия.

В последние годы новые свидетельские книги выходят и в России, из их числа назову весьма содержательную и аналитически яркую книгу А.М. Борщаговского «Записки баловня судьбы».

Ольга Берггольц почти сорок лет назад написала стихи, с которых я начал: *«Нет, не из книжек наших скудных, / Подобья нищенской сумы...»* Это было неточно даже и для 1956 года. Но с тех пор изменилось многое. Литература, обладающая книгами Анны Ахматовой, Домбровского, Солженицына, Шаламова, Гроссмана, многими глубокими, художественно полноценными мемуарными свидетельствами не «подобье нищенской сумы». Эта литература во многом искупила немоту предшествующих десятилетий. Перед нею стоит еще немало вопросов, уже намеченных, затронутых, обсуждаемых с разных позиций, и нет сомнений, что она ответит на них — если вообще возможны какие-то окончательные и всех удовлетворяющие ответы.

Примечания:

¹ Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. М., 1989, с. 442.

² Там же, с. 230.

³ Там же, с. 234.

⁴ А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Собр. соч., Вермонт-Париж, 1980, том 5, с. 167.

⁵ Там же, с. 172.

⁶ Heinrich Böll, Einmischung erwünscht. Schriften zur Zeit. Köln, 1977, S. 106.

⁷ Ibid, S. 107.

⁸ Ibid, S. 106.

⁹ А. Солженицын, там же, том 6, с. 572.

¹⁰ Там же, с. 572—573.

¹¹ Там же, с. 577.

¹² Там же, с. 579.

¹³ Там же, с. 584.

Александр БОРЩАГОВСКИЙ КГБ и еврейская культура

В издательстве «Прогресс» готовится к изданию на русском языке книга Генри Пиккера «Застольные разговоры Гитлера в ставке 1941—1942 гг.» Уже состоялось несколько изданий этой книги в Германии, и наши коллеги давно имели возможность прочитать ее. Генри Пиккер — юрист, владевший стенографией, ему позволено было присутствовать в часы обеда и ужина в ставке Гитлера под Винницей и записывать мудрствования фюрера. Среди прочих есть запись от 25 июля 1942 года: во время обеда Гитлер, благодушествуя и вспоминая, поведал о том, что ему рассказал Риббентроп в 1939 году по возвращении из Москвы, где был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Разговор Сталина и Риббентропа коснулся ближайшего будущего и судеб европейских евреев, прежде всего миллионов евреев в Советском Союзе. *«Сталин не скрывал, что ждет лишь того момента, когда в СССР будет достаточно своей интеллигенции, чтобы полностью покончить с засильем евреев, которые на сегодняшний день пока еще ему нужны».* Миллионы граждан страны, искренне убежденных, — вопреки сталинским жестокостям и террору, — в том, что глава советского государства образцовый интернационалист, были бы потрясены таким откровением, но оно предназначалось не им, а гитлеровскому эмиссару и должно было потешить душу фюрера таким совпадением конечных целей двух дикторов. Совпали даже определения: «окончательное решение еврейского вопроса» (Гитлер) и «полностью покончить» (Сталин).

Мы, разумеется, знали работу Сталина, еще дореволюционную, 1913 года, его «теоретический» дебют: «Марксизм и национальный вопрос», в котором евреям было решительно отказано в праве быть и именоваться нацией, и была перечеркнута всякая надежда стать нацией когда-либо в будущем. Стремление «Бунда» к национально-культурной автономии Сталин назвал «курьезными потугами», и походя, демонстрируя историческую близорукость, если не невежество, назвал курьезными и претензии поляков на парламентаризм, и посягательства финнов на то, чтобы быть нацией и иметь свой парламент.

История не посчиталась с теоретическими выкладками Сталина, в будущем ему пришлось столкнуться с соседскими нациями, дважды — в 1919 и в 1949 годах, — нанесшими удары по его

обскурантизму и самолюбию. Он оказался не властен над истерзанной Польшей и крохотной, в сравнении с СССР, Финляндией.

Другое дело евреи, населявшие Советский Союз; вот уж кому надлежало жить не по естественным законам истории, а по прихоти и по велениям самого Сталина. Ему бы и в голову не пришли размышления о мировой еврейской культуре, о литературе на языке идиш или иврите, существующей как явление мировое, не замкнутое рамками одного государства; для псевдомарксистов советской выделки не существовали ни писавший на иврите Агнон, ни творивший на идиш Зингер, — оба лауреаты Нобелевской премии. Говоря об евреях, об обреченных, на его взгляд, еврейских культуре, литературе, театре, он имел ввиду только подвластные ему территории, только представителей презируемой им не нации, а народности или этнической общности его царства. Придуманные им неперемные условия, — придуманные не в 1913 году, а после революции, в середине двадцатых годов, — при которых только и может некая народность, считаться нацией, сделаться нацией, кажется нарочно сочинились для того, чтобы отрезать евреям навсегда пути к статусу нации.

Замечу, что сей произвол и абсурд, задержался в нашей науке на десятилетия. Однотомная энциклопедия, изданная в 1983 году, щедро и по справедливости называет нациями малочисленные народы Кавказа, исландцев, народы, насчитывающие всего несколько сот тысяч жителей, что же касается евреев, то они и спустя полвека после смерти Сталина, и при наличии национального еврейского государства, все еще числятся «этническими группами», «восходящими к семитским племенам, населявшим Ближний Восток». Совершенно очевидно, что в 1939 году, заверяя Риббентропа в том, что он не оплошает и поставит евреев «на место», избавится от них, «не своих», Сталин мог твердо рассчитывать на то, что всё это будет передано Гитлеру и он оценит готовность сталинского режима двигаться в том же направлении, в каком давно уже преуспевали фашистские молодчики нацистской Германии.

Но так уж случилось, что при сходстве многих программных позиций, военно-государственный союз СССР и Германии продолжался недолго, война перечеркнула и разрушила его, и уже по окончании войны пришла для Сталина пора приступить к ликвидации «засилья евреев», кончать с ним решительно и полностью. После успешного геноцида ряда малых народов СССР, на повестку дня встали вопросы возможной депортации евреев в глухие, гибельные районы Севера, Сибири и Дальнего Востока, и прежде всего, проблема устранения из всех сфер деятельности «еврейских интеллигентов». Беру эти два слова в кавычки, ибо чаще всего речь идет в сущности об интеллигенции русской, украинской,

белорусской и т.д., но об евреях по крови, следовательно, неполноценных на взгляд «тсоротиков» с берегов Рейна, Шпрее и в равной мере Волги или Москва-реки.

Процесс над Еврейским Антифашистским комитетом 1948 — 1952 гг. и был бурным, катастрофическим по последствиям и беспрецедентным по масштабу преступным наступлением на всю еврейскую интеллигенцию страны с целью ее уничтожения. Достаточно полистать стенографический отчет Первого съезда советских писателей, взглядеться в краткие аннотированные списки делегатов.этого съезда (1934), с указанием на их будущие судьбы, чтобы убедиться в том, как жестоко и неостановимо сталинский режим занялся истреблением национальной интеллигенции в масштабе всей страны. С особой жестокостью и неукоснительностью проводилось, по крайней мере с 1943 года, уничтожение еврейской интеллигенции.

Смысл этой планомерной акции не просто в преследовании или притеснении еврейской культуры и литературы, а в ее полном уничтожении.

Никто не смог бы назвать ни одного крупного, значительного еврейского писателя, не уничтоженного или не загнанного в гугаговский концлагерь в связи с провокационным, не имевшим под собой никакой реальной почвы, так называемым «делом ЕАК». Если и уцелело несколько человек, то это фигуры случайные, ничем не примечательные, попросту не замеченные лубянскими «охотниками за скальпами». Более ста еврейских писателей и публицистов, поэтов, прозаиков, драматургов, жителей Москвы, Киева, Минска, Одессы, Харькова, Черновца, Биробиджана были репрессированы и брошены в следственную мясорубку. Для членов президиума ЕАК был задуман главный процесс, по которому проходили 14 подсудимых, и только двое из них избежали казни: Брегман, забитый настолько, что он не дожил до конца процесса, и помилованная Сталиным Лина Штерн, академик успешно работавшая над проблемой продления жизни и потому казавшаяся Сталину в корыстных интересах нужным человеком. Но еще за год до главного процесса ЕАК, в 1952 году военные коллеги, особые совещания и «тройки», разделались со множеством жертв, судя их коротким судом, без защиты, без права обжалования приговора, предварительно разбив их на группы по территориальному признаку: киевская, минская, одесская и т.д.

Я получил редкую возможность изучить более семидесяти объемистых томов следственных материалов, многотомную стенограмму суда, длившегося более семидесяти дней, начиная с 8 мая 1952 года и множество других бумаг и документов. Здесь не место подробно описывать ход и перипетии процесса и долгого, непредставимо долгого для сталинского «судопроизводства» той поры

следствия, длившегося три с половиной года. Остановлюсь на уникальности дела ЕАК.

Обвинения, выдвигавшиеся против известных деятелей науки и культуры, против выдающихся писателей, чьи книги переводились на многие языки мира, были опровергнуты, обнаружилась полная их несостоятельность и попросту говоря — анекдотичность. Их пытались обвинить в измене родине, в шпионаже, в передаче западным разведкам материалов и сведений, о которых они сами не имели ни малейшего представления, к которым и по характеру своих занятий, по образу жизни и т.д. не имели никакого касательства. Их обвиняли в намерении завладеть Крымом, чтобы передать его американцам в качестве военно-стратегического плацдарма против СССР! Эти смехотворные, но страшные обвинения, содержащие в себе прямую угрозу гибели, обещание неминуемого расстрела, в ходе долгого судового разговора отпали, обнаружилась их полная несостоятельность.

Два месяца и десять дней шел судебный процесс, он, можно сказать, перевернул сознание главного судьи, генерал-лейтенанта юстиции Чепцова и двух его помощников, генерал-майоров юстиции, за год до того выносивших жестокие, в том числе и расстрельные приговоры по «дочерним» делам «еврейских националистов», выделенных для отдельного рассмотрения, для удобства грандиозной по масштабу расправы надо в с е й еврейской интеллигенцией.

Но если несостоятельными оказались главные, святотатственные обвинения — измена родине, шпионаж, передача вражеским разведкам государственных тайн и т.д. — тогда в чем же обвиняли и чего добивались судьи?

Обвинение выдвинутое против подсудимых: буржуазный национализм, выразившийся в злостном сопротивлении ассимиляции евреев в СССР. Когда один из подсудимых, арестованный в Киеве еврейский прозаик Абрам Коган, вскорости осужденный на 25 лет каторги в лагерях ГУЛАГа, подписывал в кабинете следователя Лебедева листы протокола своего допроса (а подписывать положено каждый лист протокола по отдельности), он, как человек образованный, автоматически правил на листах грамматические ошибки и, сам того не желая, обнаруживал малограмотность следователя. Лебедев сшиб его ударом кулака со стула, оглушил его, принялся избивать, грязно ругаясь и приговаривая: «Ах, ты — жиловская блядь! Ты, оказывается, знаешь русский язык лучше меня, а пишешь, сволочь, по-еврейски... Все вы такие.»

О защите иврита, даже косвенной, не могло быть и речи. Любое объективное слово об иврите автоматически рассматривалось, как проявление воинственного «сионизма», как самый тяжкий из всех возможных грехов.

Академики Ольденбург и Марр еще до войны обратились к поэту Давиду Гофштейну, одному из руководителей еврейского Научного комитета при АН Украины, с просьбой о присылке им из Киева для научных целей литературы на древнееврейском языке. Когда весной 1948 года Гофштейн был арестован, — этот арест в Киеве по времени был первый из всей задуманной «серии» арестов по делу ЕАК, затем прокатившейся по всей стране, — письмо академиков и забота о «языке сионистов» оказались на первых порах главным обвинением против прекрасного поэта и человека безукоризненной нравственности.

Но обвинители и не покушались на иврит, он был объявлен ими вне закона, считался грехом первородным, не имеющим оправдания. Перед ними были евреи, столетиями уже пользовавшиеся так называемым «жаргоном», языком идиш, языком широких народных масс, языком, в известной мере глобальным, поэтому атаковать надо было его, узаконенный язык, его отнять у людей, его объявить грехом и преступлением. Писать на идиш, выступать публично на этом языке, обращаться к народу с трибун, так или иначе держаться этого языка, было, по логике палачей и горе-теоретиков «интернационализма», преступлением против дружбы народов, против благотельного союза с великим русским народом.

«А на каком языке вы разговаривали в Черновицах на литературном вечере после войны?» — спросил судья у романиста Бергельсона. «На еврейском. На идиш, — ответил Давид Бергельсон, удивившись вопросу. — Ведь это был литературный вечер.» «Ну вот, а вы пытаетесь утверждать, что вы не националист. Как вы не понимаете, что выступать на идиш, писать на идиш — это значит сопротивляться процессу ассимиляции.»

Вот одна из подробностей этого несправедливого суда.

Судью Чепцова крайне возмутило обращение ЕАК «К евреям всего мира», опубликованное в разгар войны, авторство которого принадлежало, как выяснило следствие, Давиду Бергельсону. Оно начиналось словами: «Я — дитя еврейского народа», «Это же призыв к единству по признаку одной крови!» — гневно оценил обращение главный судья. «В обращении говорится о единстве в борьбе с фашизмом», — пытался защититься Бергельсон. «Вы считаете, что с фашизмом ведет борьбу только еврейский народ?!» Обвиняемый не считал так, он должен оправдаться, отвести это обвинение: «Ведь это было обращение советских евреев-антифашистов к евреям всех стран во время войны. Было же такое выражение: «братя — евреи», я не вижу в нем ничего плохого. Судья неумолим: «Вот стихотворение «Я еврей». Автор все время старается подчеркнуть, что он принадлежит к еврейскому народу. И непрерывно кричит: «Я еврей! Я еврей!» «В самом важном

«Я еврей», — говорит Бергельсон, — ничего преступного нет. И если я подхожу к человеку и говорю «Я еврей», что же здесь плохого». Позиция судьи ужесточается: «Я говорю о стихотворении, являющемся по заключению экспертизы сионистским и националистическим. Там Яков Свердлов сравнивается с Соломоном Мудрым!» Бергельсон сникает, понимая, что все зашло в тупик, однако, мягко но с достоинством отвечает: «Свердлову не было бы стыдно, если бы он знал, что его ставят на одну ступень с Соломоном Мудрым».

Дело обернулось не просто арестом всей еврейской литературы: закрытием печатных органов, газет и журналов, типографий, запрещением театров, но и целенаправленным уничтожением национальной культуры.

В заключение скажу о самой неблагоприятной роли во всем этом Союзе писателей СССР, об активном его участии в преступлении. СП СССР был не просто регистратором происходящего: уже в первых числах февраля 1949 года последовало обращение Фадеева к Сталину и в ЦК ВКП(б), затем два заседания Политбюро, на которых и было принято решение о закрытии еврейских секций писателей в Москве, Киеве и Минске; немедленно были запрошены партийные руководители Украины (Хрущев) и Белоруссии (Гусаров) и получено их согласие на проведение карательных акций.

И как унизительны и постыдны аргументы писательского союза, высказанные в письме Фадеева: аргументы в пользу запретов и уничтожения! В вину еврейским писателям поставили... «использование б и б л е й с к и х м е т а ф о р», упоминание имени Амана (в связи с фигурой Гитлера); радость старика Давида Гофштейна, впервые после многих лет увидевшего на вокзале в Биробиджане вывеску с «квадратным письмом», т.е. вывеску еврейского письма, которое издревле так и называется «квадратным»; напоминание того, что Арарат упоминается в Библии и т.д.

Мы слишком мало знаем о подлинных героях «дела ЕАК». Не просто о жертвах, о страдальцах, о набатном начале сталинского геноцида, прерванного смертью самого диктатора, — но о них, как о героях, всякое слово которых, всякая поэтическая строка и выражение самобытности этих неповторимых личностей должно быть нам жизненно важно, интересно, необходимо не в меньшей мере, чем любое драгоценное слово чтимого человечеством Гарсиа Лорки.

Валентин ОСКОЦКИЙ

Литература под пятой КГБ

Ну и что с того, если Андрей Черненко, начальник Центра общественных связей Министерства безопасности Российской Федерации, загодя обозвал российских участников первой Международной конференции «КГБ — вчера, сегодня, завтра» (февраль 1993 года) «представителями спецслужб, ведущих активную работу против России»? Генерал, он и мыслит с генеральской прямоотой по испытанной большевистской логике: «кто не с нами, тот против нас». Достоверно зная, что участники конференции в агентуре КГБ и нынешнего МБ не значатся, он и допустить не смеет, будто остались они никем не оприходованными. Ясное дело: раз не службами отечественными, значит — закордонными. Иного не дано. Недаром же, поделив народонаселение страны на «наших» и «не наших» агентов, генерал Черненко отзывается о «наших» с трепетным пиететом: «...Забудьте слово «сексот» — нет такого термина. Если бы можно было познакомить с кем-то из агентуры, вы убедились бы, что эти люди заслуживают всяческого уважения. Подбор агента, кстати, нелегкое занятие. Чтобы не попался алкоголик, гомосексуалист, наркоман, разведенец. Нужен устойчивый, спокойный гражданин, в котором развиты патриотические чувства... агент — это, как правило, высокообразованный человек, работающий за идею... Очень многие агенты принципиально отказывались от вознаграждения за работу».

Вот и начнем с них — бескорыстных, высокообразованных, высоконравственных, высокоидейных патриотов.

Полковник Владимир Рубанов, возглавлявший после августовского путча аналитическое управление КГБ, по существу снял со своего ведомства ответственность за стукачество, списав его на социальную болезнь всего общества. Но разве болезнь не привита, не стимулирована КГБ? Разве не к нему стекалась, а в некое безвоздушное пространство уплывала информация, поступающая от доносчиков?

Любопытна цифра, названная В. Рубановым в ответ на вопрос о количестве осведомителей: один на тысячу в рабочем коллективе. Ой ли. Даже по отношению к гегемону цифра явно занижена. А если говорить о научной и творческой интеллигенции, о писателях?

Ознакомившись с заключением экспертной группы депутат-

ской комиссии российского парламента, действовавшей после августа 1991 г., но затем распущенной, журналист «Комсомольской правды» пишет, что в архивах, среди документов по агентурной работе КГБ обнаружены «доносы практически на всех ведущих деятелей литературы и искусства. Платными (а не бескорыстными, как дурит нам головы генерал Черненко!» — В.О.) «стукачами» были просто начинены МХАТ и Большой театр, Союзы писателей и кинематографистов, Госконцерт, различные гуманитарные институты Академии наук, МНТК «Микрохирургия глаза»... Писатели, умножая перечень десятикратно, могут сослаться на Институт мировой литературы им. Горького (ИМЛИ), одним из руководящих работников которого был матерый доносчик Яков Эльсберг. Или на издательство «Советский писатель», где несмеемо директорствовал Николай Лесючевский, посадивший своими доносами Бориса Корнилова, Павла Васильева, Николая Заболоцкого. Мало того, что в директорском кресле он оставался и после того, как открылась его черная роль в судьбах писателей, — он успел и сумел уволить всех, кто был причастен к разоблачению.

Так что среди интеллигенции, особенно научной и творческой, соотношение не один к тысяче, а навряд ли меньше, чем один к десяти. Иначе достоянием КГБ не становились бы частные разговоры в узком, зачастую дружеском кругу. Не с трибуны же митингов, которых не было, а скорее всего в холле ЦДЛ (Центрального Дома литераторов) выражалось сочувствие Булату Окуджаве, когда по указке «органов» партком Московского отделения СП РСФСР завел на него «персональное дело», но поименный перечень 22 писателей и художников, поддержавших опального поэта, зафиксирован в справке КГБ. Еще уже был круг друзей, изъявивших готовность помочь Б. Окуджаве материально, но и они — Владимир Корнилов, Евгений Евтушенко, Геннадий Мамлин и другие — названы в той же справке. Адресована она «для сведения» в ЦК КПСС, а подписана Филиппом Бобковым, бессменным заместителем председателя КГБ, ведавшим литературой и искусством и при Андропове, и при Чебрикове, и поначалу при Крючкове...

Помните трагедийные строки Ольги Берггольц: «Я не люблю за мной идущих следом по площадям и улицам...»? И отчаянный финал стихотворения: «Но вот уж много дней, как даже дома меня не покидает страх знакомый, по следам идущие — придут...»? Вряд ли есть надобность объяснять, почему так неотступно «шли» за писателями, художниками, кинематографистами, театральными деятелями, учеными. Для правящих верхов России, имперских идеологов охранительства демократическая интеллигенция всегда была беспокойней и опаснее охотнорядских лабазников — надеж-

ной опоры черносотенства. Советская власть восприняла от прошлых времен ненавистное отношение к интеллигенции с первых же своих декретов, начав притеснять, подавлять (а затем и истреблять) ее куда в больших масштабах и куда более жестоко. Интеллигент — обладатель интеллектуальной собственности, которую, в отличие от любой другой, нельзя ни запретить, ни упразднить никакими самыми грозными директивами. Ее можно лишь уничтожить вместе с теми, кто владеет ею. Интеллектуальная собственность менее всего подконтрольна и потому таит в себе потенции не просто оппозиционного инакомыслия, но вообще мысли. Самостоятельной и, значит, свободной. Но тоталитаризм не был бы тоталитаризмом, а диктатура диктатурой, если бы они не глушили в зародыше любые проблески свободы. Удушение мысли — условие их самосохранения.

К чести и достоинству демократической интеллигенции, включая писателей, и вопреки ее нынешним национал-патриотическим облициям, она нередко оправдывала недоверие к себе властей и их спецслужб. Как услужливо доносит в ЦК КПСС секретарь МК Гришин в августе 1968 г., «отдельные лица, присущественно представители интеллигенции (подчеркнуто мною — В.О.), проявляют недопонимание обстановки, сложившейся в Чехословакии, и выражают недовольство вводом войск на ее территорию». Вот нам еще одно звено в длиннющей, протянутой через всю советскую историю цепи руководящих проклятий, подстрекавших к карательным мерам против интеллигенции. Эту цепь начинает ленинское «говно», обращенное к интеллигенции в целом (извиняюсь за непечатное слово, но оно цитатно), а продолжает сталинская тирада о «переспуганных интеллигентиках» в одной из речей 1941 г., то есть как раз в то время, когда именно интеллигенция, отдавая себя на заклятие, шла в народное ополчение Москвы и Ленинграда.

В коллективном письме «КГБ и наше будущее», опубликованном в журнале «Столица» за полгода до августовского путча, члены общественно-политических и дискуссионных клубов научной и творческой интеллигенции «Московская трибуна» и «Ленинградская трибуна» писали, что «официальное осуждение карательной деятельности всех организаций неизменно обрывается на рубеже хрущевской эпохи и никогда не доходит до 50—80-х годов. Между тем именно в это время методы КГБ и партии, заключающиеся в подавлении любыми способами демократических, нацистальных, религиозных движений и всякой свободы мысли, сложились в тотальную программу...». До осуждений официальных не дошло и поныне, но уровень информированности о тотальном насилии КГБ над свободной мыслью заметно возрос после августа 1991 г. Обращаясь далее к некоторым фактам из

многих других, прорвавших плотный заслон сокрытий и умолчаний, я постараюсь, однако, не столько прокомментировать их, сколько извлечь обобщенные уроки, которые связаны с методологией слежки, явного и тайного надзора за писателями. Ведь освоенные прежде приемы применяются и в наши дни, и если масштабы их применения сейчас вынужденно сузились, реанимировать их в прежнем, а то и в превосходящем объеме труда не составит.

Итак, всепроникающий контроль над умами и душами людей — интеллектуальной собственностью. Репрессивные методы расправы с оппозиционным инакомыслием, включая как никогда прежде широкое привлечение психиатрии, что стало персональным вкладом Андропова в карательную политику государства, сегодня общеизвестны. Куда хуже осведомлены мы о деятельности спецслужб по пресечению потенциального инакомыслия да и вообще незаемной мысли. Недаром вырвалось у Александра Твардовского: «На мысль в спецсектор сдав права...». Цель и смысл такого насилия обнажили недавно обнародованные дневники Корнея Чуковского — трагический документ тоталитарной эпохи. Что более всего ужасало писателя на протяжении всей его долгой жизни? Воинствующая нетерпимость к ярко личностному самовыражению художника в литературе и искусстве, сознательная ставка на верноподданническую посредственность. Так оскорбительный надсмотр перерастал в открытое глумление над талантами и, по сей день сталкиваясь с необратимыми последствиями этого, мы вправе квалифицировать разрушение отечественной культуры, создание в среде ее творцов уродливой атмосферы интеллектуального вырождения и нравственного разложения как еще одно тяжкое преступление КГБ...

Наиболее полно открылась нам информация о цензурном контроле над периодической печатью, литературно-художественными журналами, издательствами, театрами, киностудиями. О том, в какие жесткие тиски был взят «Новый мир» Твардовского, рассказано в воспоминаниях Алексея Кондратовича, Владимира Лакшина, Юрия Буртина, других сотрудников разогнанной редакции. Достаточно наслышаны мы о запретительных мытарствах товстоноговского театра в Ленинграде, «Современника» в Москве, Любимовского театра на Таганке. «Сам» Андропов, ссылаясь на «данные», полученные «от оперативных источников», сигнализировал в ЦК КПСС об опасности «проявлений антиобщественного характера» в связи с постановкой Юрисм Любимовым спектакля о Владимире Высоцком. Постановщик, указывая недипломированный театровед, «пытается с тенденциозных позиций показать творческий путь Высоцкого, его взаимоотношения с органами культуры...». Действуя, по ироничному выражению Александра

Солженицына из знаменитого письма писательскому съезду, «под затуманенным именем Главлита», цензура не сужала, а расширяла свои властные функции вплоть до середины 80-х гг. Она диктаторски вмешивалась и в содержание художественных произведений, фильмов, спектаклей, и даже в их рецензионные оценки критиками, беря на себя защиту неприкасаемых или, как тогда говорили, некритикабельных.

Намного хуже известны нам факты преследований деятелей культуры, взятых под колпак КГБ по подозрению в нетвердости идейных позиций. Из писателей под ним постоянно находились К. Паустовский, В. Каверин, А. Яшин, В. Тендряков, Б. Балтер, Б. Ямпольский, Б. Слуцкий, А. Адамович, В. Корнилов, «невъездной» автор крамольного романа «Не хлебом единым» В. Дудинцев, по наущению И. Бодюла, брежневского собутыльника и партийного правителя Молдавии, — Ион Друцэ. Из кинематографистов — М. Швейцер, как только поставил по тендряковской повести «Тугой узел», — фильм, «очерняющий партийных руководителей всех рангов». Далеско не всеохватный перечень продолжили «подписанты» коллективных писем в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля, последующих жертв судебного произвола, а также все, кто послал поздравительные приветствия к 50-летию А. Солженицына. Не обошло КГБ своим карающим вниманием зарубежных переводчиков и издателей запретного писателя — Ольгу Андрееву-Карлайл из США, Ханса Бьеркегрена из Швеции, надолго ставших, как и многие советологи в сфере философии, истории, культуры, литературы, «невъездными». Следующую «обойму» составили авторы альманаха «Метрополь» — Семен Липкин, Инна Лиснянская, Евгений Попов и другие.

Лично Андропов докладывал в ЦК КПС «в порядке информации»: *«Комитет государственной безопасности Белоруссии располагает данными о политически нездоровых настроениях белорусских писателей — члена КПСС Карпюка и Быкова... Карпюк нелегально распространяет среди своих знакомых различные пасквили в виде книги Гинзбург-Аксеновой «Крутой маршрут» и другие (самозванный литературовед явно не в ладу со стилистикой! — В.О.). Отрицательно воздействует на молодежь. Под его влиянием студент Гродненского университета Малашенко пишет стихотворения, проникнутые пессимизмом и упадничеством, некоторые из них содержали вредный политический смысл... Взгляды Карпюка в определенной степени разделяет Быков, автор тенденциозной повести «Мертвым не больно»... В настоящее время к Быкову проявляют интерес идеологические центры противника (даже не «потенциального», а уже как бы воюющего! — В.О.). Это видно, в частности, из переписки с ним (и не стыдно признаться: перлюстрированной!) —*

В.О.) сотрудницы закрытого сектора «Народно-трудового союза» (НТС), которая ведет его антисоветскую обработку. С Быковым установил контакт подозреваемый в принадлежности к спецорганам противника итальянец Поджи... Комитетом госбезопасности Белоруссии с санкции ЦК Компартии республики готовятся мероприятия, направленные на предотвращение возможных враждебных акций со стороны названных лиц».

Не иначе как одним из таких «мероприятий» стало спровоцированное гродненским КГБ «стихийное» возмущение рядовых читателей, в знак неприятия «очернительской» прозы Василя Быкова побивших окна в его квартире. Добавлю к этому, что вся личная переписка писателя, вся адресованная ему корреспонденция нагло перлюстрировалась в течение многих лет.

Как видим, слежка за подозреваемыми в нелояльности к тоталитарному режиму складывалась в строго разработанную систему, которая принимала вид многоступенчатой иерархической пирамиды. У подножия — неисчислимая рать осведомителей, доносивших о контактах и связях «объекта», поставлявших «компромат» о его суждениях, телефонных разговорах, письмах. Ближе к середине — армия исполнителей, состоявших на штатной службе. А на острие конуса — руководители ведомства, высшие лица государства и партии. Как и «низы», не гнушавшиеся ни доносом, ни провокаторством. Известно, что в целях провокационных Андропов охотно шел на встречи с арестованными «диссидентами», дабы склонить к послушанию, повлиять на их поведение в ходе следствия и суда.

Повышенный интерес спецслужб в плане «борьбы с национализмом» вызывали умонастроения интеллигенции республик. Кагешной силой разгонялись студенческие сборы у памятника Шевченко в Киеве. Долгое время — это ли не имитация служебного рвения? — преследовался народный праздник Лиго в Латвии, наиболее строптивым приверженцам его, не желавшим послушно отрекаться от вековых национальных традиций, давали сроки. К нескольким волнам арестов свелось «интернациональное» воспитание молодежи, включая литературную, в Эстонии. Горькая чаша сия в сталинские годы не миновала широко признанного поэта и прозаика Яана Кресса, в брежневские — талантливого прозаика и драматурга Тээта Калласа.

В связи с этим примечательна еще одна цитата из еще одной информационной записки Андропова. «В Комитет госбезопасности при Совете министров УССР поступают сообщения об отдельных отрицательных явлениях в писательском коллективе Украины. Некоторые <...> ведущие литераторы республики в искаженном свете представляют коренные вопросы внешней и внутренней политики КПСС и Советского правительства,

что особенно наглядно проявилось в период известных событий в Чехословакии. В августе 1968 года писатели Л. Новиченко, Д. Павлычко и В. Коротич <...> уклонились от выступления на митинге, проведенном в связи с вводом советских войск в Чехословакию. Не явились на митинг заранее оповещенные об обязательном участии И. Драч и Е. Гуцало <...> Поэтому устранение от руководства СПУ Д. Павлычко, Н. Зарудного и В. Коротича положительно встречено в среде литераторов».

Заметим: как часто Чехословакия (а спустя десяток лет — Польша) становилась решающим фактором литературных пристрастий КГБ. Обратим внимание и на то, что не писатели, а «органы» решали, кому, когда и как секретарствовать в писательских организациях. И наконец: бравирюя своей осведомленностью, а также результативностью сыскной работы, председатель КГБ не был правдив. Свидетельствую как очевидец: я присутствовал на том самом пленуме правления СП Украины, когда из его секретариата вывелись названные писатели, и никакого всеобщего ликования по этому поводу не заметил... Впрочем, устранение от руководства в министерстве по управлению литературой, каковым слыл и был Союз писателей, — не самая крайняя мера кагебешного противодействия писательскому вольнодумию. Владимира Войновича отстранять было нечего: ни к какому руководству его никогда и близко не допускали. Решились на уголовщину — предприняли попытку отравления.

Поучительно вспомнить и о таком приеме давления, как бесцеремонное вмешательство в личную жизнь и шантаж добытыми сведениями интимного свойства, — по понятиям андроповских моралистов, «бытовым компроматом». К такому шантажу прибегали, в частности, при сборе подписей под коллективными одобрениями оккупации Чехословакии или осуждениями А. Сахарова, А. Солженицына, при мобилизации «общественного мнения» на другие идеологические кампании, которые тем больше нуждались в поддержке авторитетными именами, чем были неприглядней.

Совсем не изучена методология контроля над читательским сознанием, а ведь и ее отработали достаточно четко, и не только применительно к «тамиздату» или «самиздату». В больших библиотеках на особый учет брались формуляры, выдающие нестандартное направление философских, исторических, литературных интересов читателей. Велось наблюдение за букинистическими магазинами — как за продавцами, так и за покупателями-завсегдатаями.

Разумеется, вмешательство КГБ в духовную сферу не было бы столь всеохватным, всепроникающим без подпитки снизу. Не забудем: во взаимодействии Лубянки и Старой площади, согласно

разработавших тайную операцию по изъятию у Василия Гроссмана романа «Жизнь и судьба», в неприглядной роли наводчика участвовала третья сторона — редколлегия журнала «Знамя», поддерживаемая руководством СП СССР. Отвергая роман, она доброхотно сочла своим гражданским долгом не возвращать его автору, а передать «по инстанциям». О чем говорит этот аморальный эпизод? О том, что писатели писателям рознь. Одни страдальчески изнывали под пятой КГБ, другие, тоже находившиеся под нею, сознательно способствовали тому, чтоб пята давила тяжелее...

Вскоре после августовского путча, когда насмерть перепуганная «Правда» еще только приглядывалась к обстановке и не обличала Герострата в облике Вадима Бакатина, а подобострастно печатала интервью с ним как шефом КГБ, он обнадежил нас заявлением, будто «слежки за инакомыслящими уже нет». Поспешное заявление! За демократами, во всяком случае, следят и сегодня, причем такими опробованными методами, как прослушивание телефонов, перлюстрация писем. На усиление слежки ударно работает прошлогодний закон об оперативно-розыскной деятельности, легализующий за государственными структурами право иметь агентурные сети, вербовать и использовать «негласных помощников». Так проглядывается неискоренимое стремление спецслужб по-прежнему надзирать над общественным сознанием, манипулировать общественным движением, направляя их в заданное русло.

Продолжается осуществляемая спецслужбами деформация общества, а одно из направлений ее — провокационная компрометация неудобных. Нов не сам прием, а его содержательное наполнение. Все чаще и больше организуются «утечки информации» о сотрудничестве с КГБ тех именно лиц, доверие к которым важно подорвать в данный момент.

Вспоминая учредительную конференцию «Мемориала» (1988 г.) и бурное негодование зала, вызванное выступлением тогдашнего первого заместителя главного редактора «Литературной газеты» (а ныне главного редактора коммунистической «Гласности») Юрия Изюмова: «в свою лагерную бытность А. Солженицын был завербован в осведомители, подробную статью об этом читайте в ближайших номерах». Единодушная обструкция спасла редакцию от позора: статья, спущенная из «органов» и набранная аж на полосу, в газете не появилась. Но, как оказалось, и этот скандальный урок не пошел все же впрок ни «органам», ни прессе. Пущен новый слухок — о «подозрительных» связях с КГБ Андрея Синявского и Марии Розановой. Печально, но факт: затравка к взаимным подозрениям, которые на руку как раз первоисточникам информации, отчасти сработала. На лакомую приманку сначала опростетчиво клюнула газета «Литературные новости», затем — гордящаяся своей независимостью «Независимая газета». И то

ладно, что благодаря этому появились в последней блистательные воспоминания М. Розановой о том, как все происходило в действительности. Стало быть, и на этот раз нет худа без добра? Лучшее бы — и для репутации газеты в том числе, — чтоб добро обходилось без худа...

Новые типовые приемы сопутствуют вторжению спецслужб в дела издательские. Появляется некая зарубежная фирма, выгодно перекупает право первого издания книги, в оперативном появлении которой спецслужбы по той или иной причине не заинтересованы, пунктуально оформляет и подписывает соответствующие документы — и исчезает. Пока, по истечение договорного срока, фирму разыскивают, пока убеждаются, что ее не существует в природе, время уходит и книга издается со значительным опозданием. Так случился с первым выпуском книги Олега Калугина «Вид с Лубянки»: выход ее в издательстве ПИК задержали таким путем на год. Много говорят и пишут сейчас о книжном пиратстве. Стоило бы разобраться: не обнаружится ли в половине пиратских случаев не только рыночная корысть конкурента, но все то же желание надсмотрщика помешать законному изданию книги или хотя бы подорвать к нему читательское доверие? Настораживает участвовавшее прослушивание служебных и домашних телефонов издательских работников: повышенный интерес вызывает, видимо, не одна лишь коммерческая сторона дела, но и содержание книжной продукции, намеренной к изданию.

Никак не обойти «агентов влияния» — легенду, рожденную в аппаратных недрах старого КГБ СССР, но не развеванную и нынешним МБ РФ. Сомнительная честь авторского патента на резиновый эвфемизм, заменяющий вконец скомпрометированных «врагов народа», в которых и последний дебил сегодня уже не поверит, принадлежит Андропову. Но государственный преступник Крючков творчески развил и обогатил предшественника, как Сталин Ленина, а Ленин Маркса. В его интерпретации «агент влияния» может и не знать о себе, что он агент. Какой великий соблазн для произвола! И какой широченный простор для самоуправства! А сверх всего — и по-чеккистски отважный взгляд в вожделенное будущее, которое вдруг да и снова подымет спрос на массовые преследования и расправы. Пока же, в нетерпеливом ожидании заманчивых перспектив, иные газеты красно-коричневого, национал-большевистского толка, возрождая поименные «охоты на ведьм», загодя готовят проскрипционные списки.

Так, в «Литературной России» некий самозванный социолог-историк гневно уличает Горбачева и Ельцина в «легализации масонства в России» и, ставя масонов и «агентов влияния» в ряд синонимов, подстрекательски возглашает, будто «масонские ложи и их низкие структуры... сегодня в России существуют офи-

циально, членами их открыто состоят мэр Москвы Ю. Лужков, руководитель Союза журналистов Э. Сагалаев, писатели Ю. Нагибин и А. Ананьев...». Обратим внимание на писателей: кого именно зачисляют в масоны? Не Ю. Бондарева или В. Распутина, нестальгически поминающих пусть тоталитарное, но славное прошлое хоть нищей, зато великой империи. Не С.Куяева, чей великодержавный шовинизм вполне согласуется с верноподданническим стихотворным обращением в ЦК и ЧК за помощью и поддержкой. Не А. Проханова и других публицистов «Дня», чья злобная, иступленная борьба с ВОРОм (на их жаргоне: временным окупационным режимом) Е.Б.Н. (по-ихнему: Ельцина Бориса Николаевича) демонстративно не признает не только конституционных норм, но любых приличий — и политических, и этических. Масонами оказались широко признанный автор и главный редактор журнала, то есть публикатор произведений, которые не пришлось к национал-большевистскому двору. Они, как встарь, грубо заклеены его несгибаемыми идеологами. Кто следующий? Следующие — в проскрипциях «Дня». Не масоны. И даже не «агенты влияния». Без обиняков — предатели России. Ату их! Из писателей там и Юрий Черниченко, и Андрей Нуйкин, и, выражаясь изысканным слогом, «ваш покорный слуга»...

А что, случаи устрашения и акты насилия — они тоже все еще имеют место? Отвечать приходится гипотетически, коль скоро документальных подтверждений тут нет и быть пока что не может. Поэтому и речь дальше пойдет не столько об установленных фактах, сколько о настораживающих совпадениях.

Вполне допустимо, что Виктор Ильин, в прошлом генерал КГБ, сам сидевший в сталинские времена, а после реабилитации направленный в качестве оргсекретаря Московского отделения СП РСФСР присматривать за писателями, был сбит машиной возле своего дома по чистой случайности, тем более, что видел в последние годы все хуже. Но почему несчастный случай произошел сразу после того, как он, находясь на пенсионном отдыхе, начал искать встреч с бывшим коллегой по КГБ Олегом Калугиным, историком из «Мемориала» Никитой Охотиным, другими демократами, с которыми намеревался поделиться немалым знанием закулисных сфер?.. Журналист Владимир Ключарьянц опубликовал две статьи о средствах массового воздействия на психику людей. Вслед за публикацией у него сгорает квартира, а сам он заболевает непонятной болезнью, симптомы которой — волдыри на теле — подозрительно смахивают на описанные Солженицыным... Журналистка Алла Ярошинская, работая над книгой «Чернобыль: запрещенная правда», раздобывает и оглашает через телевидение документы, свидетельствующие о намеренном сокрытии по директивам Политбюро ЦК КПСС истинных масштабов (в

десятки раз заниженная радиация и пр.) чернобыльской катастрофы, изъявляет следом готовность представить их Конституционному суду с тем, чтобы вынести на уже намеченные в то время слушания по делу КПСС. В один день, опять же возле дома, причем дважды — утром, по выходе, и вечером, при возвращении, — кирпичи, сброшенные с крыши. Метили в голову, но оба раза промахнулись. И на старуху проруха?..

В этом ряду мой случай совсем пустяшный, но и о нем позволю себе коротко рассказать. Приключилось это сразу после того, как я выступал в городском народном суде свидетелем по делу Смирнова-Осташвили (предводителя боевиков «Памяти», устроивших погром на собрании Московской независимой ассоциации «Апрель») и решительно отказался отвечать на провокационные вопросы его защитников: с какими сионистскими организациями в Москве я связан, с какими зарубежными сионистскими центрами поддерживаю связь при поездках за границу? Совпало так, что через пару дней я выехал в Югославию в составе туристской писательской группы и в гостинице Дубровника был подвергнут такому «шмону», что поневоле вспомнил не одну сцену обыска в русской классике. «Шмонали», как я логически вычислил, вернувшись в разгромленный номер, два «кооператора», невесть как попавшие в поездку, писательский спрос на которую значительно превышал число наличных путевок. Не думаю, что, поехав по путевкам, отобранным у писателей, они оказались настолько глупы, что всерьез отыскивали в чемоданах улики моих преступных сионистских контактов. «Шмон» имел скорее всего воспитательное или, выражаясь профессиональным языком моих «кооператоров», сугубо профилактическое назначение: есть и такой прием — припугнуть. По возвращении домой я написал репортаж о Джеках-потрошителях, выходящих на след, и напечатал его в «Столице» (1990, № 6). Никаких опровержений на мою «субъективную версию истинного происшествия» не последовало. Значит, угодил в яблочко...

Отвергая и опорочивая любые посягательства демократической печати на тайны спецслужб, ей чаще всего приписывают тенденциозность и предвзятость, которые, де, препятствуют объективному освещению темы. Но коли так жаждете объективности и дорожите чистой ведомственной мундира, расследуйте перечисленные случаи и доведите результаты до сведения заинтересованной общественности. А заодно откройте, наконец, правду о гибели Константина Богатырева: ни Генрих Бёлль и Лидия Чуковская, ни Александр Галич и Виктор Некрасов не сомневались, что он убит на пороге собственной квартиры вашими предшественниками. Отмежуйтесь от этого преступления, как и от всего преступного прои того, если действительно оно для вас неприемлемо так

же, как ненавистно нам. Подтвердите расчет с ним и словом, и делом. Назовите вдохновителей и исполнителей каждого из преступлений, чтобы рядом с именем жертвы значилось имя ее виновника. Распустите созданный вашим ведомством антисионистский комитет, над которым потешается весь цивилизованный мир, называя его не иначе как кагебешным. Обязите поделиться с общественностью незаурядным опытом «культуртрегерской» деятельности и генерала Ф. Бобкова, и полковника Бардина, «работавшего» с М. Розановой и Л. Богораз. Рассекретьте «Андрея», засланного в «Московскую трибуну» и писательскую ассоциацию «Апрель», чтобы информировать КГБ о их составе, программных задачах, уставных принципах, ходе собраний. Если же вдруг он — миф, придуманный, чтобы нас рассорить подозрениями друг на друга, то и в этом признайтесь откровенно. Право слово, не праздного любопытства и тем паче не запоздалой мести ради добиваюсь узнать, существует ли этот «Андрей», названный в оперативных сводках 1989 года, реально, а если существует — глянуть ему в глаза. Только и всего. Очень не хочется подавать руку доносчику или того хуже — возможен ведь и такой поворот — поить его дома чаем...

И наконец: требуя доверия к себе, оправдайте его открытием архивов, сделайте их доступными общественности. Не вам по наследству, а ей по праву принадлежат трехтомное «дело» Анны Ахматовой, «дело» Ольги Берггольц, другие писательские «дела», что и по сей день пылятся в подвальных глубинах Лубянки или Большого дома на Литейном. Не ваше личное, а общенациональное достояние — архив Виктора Некрасова, изъятый у него при обысках, невозвращенные архивы Варлама Шаламова, Александра Галича, Анатолия Марченко. Куда там! Чуть что, — тут же, как правило, выясняется: заплесневелый гриф «совершенно секретно» обладает прежней магической силой, а соображения моральные не играют никакой роли.

Архив Московской писательской организации такого грифа не имеет, но и он недоступен в той как раз немалой части, которая датируется временем первосекретарства Феликса Кузнецова. Хранится она не в ЦГАЛИ, как следовало бы ожидать, а в ИМЛИ, где бывший лидер стиличных писателей нынче директорствует. Стало быть, ему есть что утаивать «от суда мирского», как и «от Божьего суда», не подпуская к архиву, на котором он сидит, как насадка на яйцах, никого, кроме себя любимого: там и неприглядная история с «Метрополем», и исключения из Союза писателей «диссидентов»...

В заключение — несколько выводов. Нужны ли нам указы, запрещающие прослушивание телефонов, перлюстрацию писем и прочие прелести, жестко квалифицирующие их как должностные

преступления, направленные против прав человека, закрепленных Конституцией, и, значит, против самой Конституции? Еще как нужны! Но они срабатывают не при любой погоде, а лишь в атмосфере всеобщей нравственной нетерпимости к малейшим ущемлениям этих прав, приоритетных по отношению ко всем другим. В цивилизованном обществе, развитом духовно, воспитанном нравственно, попросту невозможна аргументация «Литературной России» (литературной!): с какой стати сотрудничество с правоохранительными (читай: карательными) органами предсудительно для патриотически настроенного российского гражданина?..

Еще раз сошлюсь на предавгустовское письмо «Московской трибуны» и «Ленинградской трибуны». Их первое требование: *«Комитет государственной безопасности... должен быть ликвидирован как организация, игравшая деструктивную роль на протяжении всех десятилетий со дня своего создания»*. Признавая это требование неослабно актуальным, необходимо, однако, внести уточнения с учетом послеавгустовских изменений. Противоправная, попиравшая права человека, народа, нации деятельность ЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ, неизменно карательная, репрессивная, разрушительная на протяжении всей советской истории, должна быть признана преступной. Что же до нынешнего МБ России, то, не отмежевавшись от преступного прошлого, оно не стало принципиально новой организацией и выступает скорее правопреемником предшествующих. Поэтому его следует распустить, а взамен его создать новую структуру со строго определенными функциями борьбы с терроризмом, наркобизнесом, коррупцией, другими видами организованной преступности.

Но кто тогда будет ловить шпионов, в изобилии засылаемых к нам закордонными спецслужбами, и их отечественных пособников, пресловутых «агентов влияния»? Рискую прослыть благодушным романтиком, отважусь все же сказать, что пришла пора выбить из рук стражей государственной безопасности последнюю козырную карту, которой они оправдывают свою тайную деятельность, сверхзасекреченное существование. Тем паче, что и эта карта крапленая. Не сегодня так завтра мировому общественному мнению станет, наконец, по силам поднять голос против спецслужб в международном масштабе и призвать все государства заключить универсальный договор об отказе от любых видов военного, промышленного, коммерческого и прочего шпионажа, скрепить такой договор не просто подписями президентов и глав правительств, но и открытостью политической, экономической, экологической, демографической и т.д. информации. Наивно? Право, ничуть не более, нежели казавшиеся когда-то н быточ-

ными идеи разоружения или запрета испытаний ядерного оружия...

Однако заканчивать приходится не мечтаниями, воспаряющими над грешной землей, а суровой реальностью бытия. Когда слышишь угрозы генерала КГБ А. Стерлигова запомнить в лица всех, кто вступает против фашиствующего Русского национального собора, или нациста Проханова, намеренного мстить демократам всем вместе и каждому на особицу, то никак не отрешиться от мысли, что силы мщения возможно привести в боевую готовность без больших затруднений. Почти все руководство КГБ бывших союзных республик перекочевало сейчас в Москву и, по-стерлиговски благополучно устроившись в коммерческих структурах, дожидается «часа пик». Пока что генерал Филатов сам перекрыл себе путь к избранию столичным мэром, наобещав первым делом отдать приказ о строительстве в Москве новой большой тюрьмы. Равным образом, и редакция «Дня» возбуждает, взбадривает сама себя, предрекая скорую победу «патриотической власти», которая «будет жестко спрашивать со всех предателей России». Но то — сегодня. А кто при нашем нынешнем правовом беспределе поручится за завтра? За послезавтра?

Случись и впрямь такое — маховик насилия не придется раскручивать заново. Его достаточно будет всего лишь расчехлить...

Матиас БРАУН

«Офицеры по руководству»,
«оперативные работники»,
«неофициальные сотрудники»

(Влияние МГБ на развитие литературы
и искусства в ГДР)

29 декабря 1991 года вступил в действие принятый подавляющим большинством бундестага ФРГ «Закон о документах госбезопасности»¹. Этот закон, не имеющий прецедентов в истории, вызвал дебаты, которым, едва они начались, многие и на Востоке, и на Западе так охотно положили бы конец раз и навсегда, и чем скорее, тем лучше. Но здесь нельзя не согласиться с Клаусом Михаэлем, заявившем недавно в «Берлинер цайтунг»: *«Кто ратует сегодня за конец дебатов, тот либо сам был замешан в прошлом в делах «штази», либо же ничего не знает о сущности ГБ. Тот, кто требует прекратить дискуссию о «штази», еще раз жертвует теми, кого это коснулось. Кто выступает за молчание, тот ратует за забвение. И за то, чтобы упустить редкую возможность. Ведь никогда еще в немецкой истории не было возможно заглянуть в анналы государства и одновременно расспросить самих участников — и виновников, и пострадавших, и тех, кто был и тем и другим вместе»².*

Базируясь на законе, принятом еще Народной палатой ГДР, действующий ныне «Закон о документах госбезопасности» регулирует использование материалов секретной службы ГДР для разбора деятельности «штази» не только в политическом и юридическом, но и в историческом аспекте.

Так, в Ведомстве Федерального уполномоченного по изучению документов службы государственной безопасности бывшей Германской Демократической Республики (таково официальное — пожалуй, несколько длинноватое — название этого учреждения, которое сегодня больше известно как «ведомство Гаука») с 1992 года есть исследовательский отдел. В этом отделе ученые из обеих частей Германии работают сейчас примерно над 50 темами по исследованию структур, методов и приемов деятельности МГБ. Одновременно в задачу этого отдела входит оказание — в рамках закона — поддержки проектам, исследующим деятельность «штази» в историческом и политическом аспектах.

Каким же представляется состояние дел в контексте нашей конференции немецкому ученому, занимающемуся историей современности?

Прежде всего — и это во-первых — он сталкивается с огромным количеством романов-разоблачений. Не может он пожаловаться и на нехватку шпионских и детективных историй. В политической области — например, у многочисленных инициативных групп по защите прав граждан или же в «анкетной комиссии» бундестага — уже есть первые результаты³. А вот к разработке исторического аспекта мы пока еще только приступаем.

И это неудивительно — что касается фундаментальных исследований в области истории современности, то тут мы, действительно, находимся в самом начале. Нам не остается ничего другого, как одолеть сперва бесконечные горы официальных бумаг МГБ — все эти указания, служебные наставления, инструкции, циркуляры, плановые директивы, годовые рабочие планы, публикации Высшей юридической школы МГБ и т.д., — чтобы мало-помалу добраться и до «самих дел». А эти тексты не только бесконечно далеки от литературы, они прямо противоположны ей, да еще и исполнены презрением к людям.

Хотя СЕПГ и ее аппарат безопасности считали искусство и культуру важным участком в сфере общественного развития, МГБ никогда не рассматривало себя ревнителем каких-либо эстетических программ.

Как и партия рабочего класса, МГБ, в конечном счете, всегда смотрело на искусство лишь как на оружие в политической борьбе и стремилось использовать его именно в качестве такового. Отсюда вполне объясним и тот факт, что никаких основополагающих документов, которые касались бы проблем эстетики или искусствоведения, у МГБ не было. Даже рассуждений программного характера по вопросам культурной политики в документах МГБ до сих пор почти не обнаружено.

За это время стала известна «служебная инструкция № 3/69 по организации политико-оперативной работы в сфере культуры и средств массовой информации»⁴. Здесь сформулированы девять блоков, за которые, как считало само МГБ, оно должно было отвечать и принимать соответствующие меры:

I. Ответственность за обеспечение сферы культуры и средств массовой информации;

II. Меры по обеспечению главных оперативных направлений;

III. Неофициальная работа;

IV. Оперативная разведка, обработка данных и контроль за негативно и враждебно настроенными кругами, а также за организацией профилактической работы;

V. Внешняя разведка и контрразведка;

VI. Задачи и границы ответственности начальника 7-го отдела Главного управления ХХ (Отдел по делам искусства и культуры);

- VII. Задачи и границы ответственности начальников секторов в отделах Главного управления XX и управлений округов;*
VIII. Меры по координации политико-оперативной работы;
IX. Анализ и сбор информации.

В духе этой «Служебной информации» товарищ министр выказал 13 июля 1972 года на служебном совещании, посвященном обсуждению решений пленума ЦК по вопросам культуры (6-й пленум), следующие соображения:

«Товарищи! Результаты проделанной работы подтверждают, что противник своими атаками добился определенного эффекта. Среди деятелей искусства и культуры ГДР есть, как и прежде, определенные круги и лица, которые думают и действуют в этом смысле, которые своими враждебно-негативными взглядами и поведением выступают против политики нашей партии, в особенности против ее культурной политики, которые стали в каком-то плане опорными пунктами врага».

Далее министром делался такой вывод:

«В политико-оперативной работе требуется очень внимательно выявлять и анализировать все враждебно-негативные тенденции среди работников искусства, писателей, деятелей культуры, чтобы быть в состоянии своевременно принимать соответствующие политико-оперативные меры»⁵.

Таким образом, все деятели искусства почти автоматически оказывались «под колпаком» аппарата ГБ. Ибо чем меньше этот социализм — с которого, как было заявлено, именно и началась настоящая история человечества — отвечал своим же претензиям на гуманизм, тем больше усугублялся конфликт между духом и властью, а значит, между художником и культурной политикой. Так что путь от политической идентичности к оппозиции был предопределен. Но деятели искусства долгое время не понимали, что они автоматически вписывались в полотно «чекистского образа врага». Вот как пишет театральный режиссер Адольф Дрезен: *«Мы не хотели быть оппозицией, невинность нашего сопротивления заключалась в том, что оно и не осознавало себя сопротивлением. Обычно государственная власть понимала это раньше, чем мы. К нашему изумлению, нас запрещали, подвергали репрессиям, отправляли на производство. Но столь же неожиданным было то, что в то же время нас ждали симпатии с другой стороны — со стороны публики. И раздавались аплодисменты «не оттуда» — с Запада»⁶.* Что же делали все эти годы писатели, художники, деятели театра и кино? Они пытались сказать правду о буднях реального социализма. Ту самую правду, о которой знали все и которую госбезопасность скрупулезно фиксировала в своих «сводках о настроениях среди населения»⁷. Так что ничего нового сказано не было, а всего лишь нарушались табу. Так рождалось

политическое искусство — но не потому, что вдруг открывалась правда, а потому, что ее делали достоянием гласности. Конечно, и это немало, но ведь вся-то сложность задачи искусства заключается как раз в том, чтобы открывать правду — новую, неизвестную до сих пор правду.

МГБ прибегало не только к многочисленным средствам и методам других секретных служб — оно, будучи само секретной службой, не жалело сил и для совершенствования своего собственного инструментария, дабы быть в состоянии всегда сохранять боевую готовность для выступления в роли «щита и меча» партии во всех сферах социалистического общества.

Весь мир говорит сегодня об «офицерах по руководству». Однако тщетно искать это словосочетание в словаре политико-оперативной работы МГБ, составленном для служебного пользования Высшей юридической школой этого министерства. Ведь в МГБ, по его собственной формулировке, были только сотрудники. В соответствии с Директивой № 1/68, *«они несут высокую ответственность за выполнение задач по обеспечению безопасности перед Социалистической Единой Партией Германии и правительством Германской Демократической Республики. <...>*

Быть на высоте этой ответственности они могут, только постоянно работая над собой, руководствуясь решениями партии, сознавая перспективу нашего социалистического Отечества, являясь убежденными приверженцами пролетарского интернационализма, в первую очередь дружбы с Советским Союзом, отличаясь обширными деловыми знаниями, научными методами работы и такими высокими моральными качествами как отвага, мужество, стойкость, примерная дисциплина, честность и скромность, они должны быть преисполнены жгучей ненависти к врагу, не жалеть сил и не щадить себя, чтобы, непрерывно повышая свою квалификацию, всегда быть на высоте поставленных задач»⁸.

Само собой разумеется, что в построенных на военный лад структурах секретной службы имеется множество категорий ее сотрудников. В рядах большой группы штатных оперативных сотрудников МГБ мы обнаруживаем специальную группу работников, осуществлявших руководство «неофициальными сотрудниками» и известных общественности как «офицеры по руководству». О том, какие общие требования предъявлялись к «офицеру по руководству» и что входило в его рабочие задачи, видно из «Служебной инструкции» № 1/79, в которой, в частности, говорится, что ему «необходимо максимально:

- укреплять чекистское отношение к работе с неофициальными сотрудниками;
- развивать необходимые чекистские качества, навыки и

приемы в целях квалифицированной работы с неофициальными сотрудниками, в особенности способность мыслить в духе политики безопасности, умение давать правильную политико-оперативную и уголовно-правовую оценку полученной информации, распознавать важные в оперативном отношении причины и следствия и вести в значительной степени самостоятельно разработку и реализацию соответствующих выводов, а также:

— развивать и укреплять такие личные качества как чувство ответственности, постоянная боевая готовность, убежденность, дисциплина, бдительность, творческая инициатива и изобретательность, постоянное пополнение знаний, необходимые для успешного решения возложенных на него задач».

По новейшим сведениям, около 12000 сотрудников — т.е. примерно 15% всего штатного кадрового состава МГБ в 1989 году — должны были руководить «неофициальными сотрудниками». На одного работника, руководившего «неофициальными сотрудниками» (НС), в районных отделах МГБ приходилось, в среднем, двенадцать НС. На уровне же управлений один штатный работник «вел», как правило, от трех до пяти «неофициальных сотрудников».

При этом работники, руководившие «неофициальными сотрудниками», обладали, насколько можно судить по всему тому, что нам известно сегодня, весьма узким кругом полномочий. Действительные же решения, тем более по делам, которые оценивались как особо важные в политическом отношении, готовились на уровне руководства МГБ и базировались на указаниях ЦК или Политбюро ЦК СЕПГ. В какой степени политические рекомендации Политбюро ЦК СЕПГ согласовывались с московским руководством — это до сих пор выяснить в достаточной мере пока не удалось.

Работники, руководившие «неофициальными сотрудниками», имели самые разные офицерские чины и выполняли в МГБ и другие задания. Бывало, что в зависимости от обстоятельств особо ценных «неофициальных сотрудников» «вели» напрямую и руководители секторов того или иного управления (как, например, в хорошо известном вам, вероятно, случае с секретарем, который был «неофициальным сотрудником»). О самих же работниках, руководивших «неофициальными сотрудниками», — скажем, о их биографиях, образовании, компетентности — мы знаем пока очень мало. Достоверно известны настоящие имена и те или иные псевдонимы «офицеров по руководству», а также их годовые оклады!

Чем конкретно были заняты «офицеры по руководству», станет более ясно, если мы обратимся к так называемым «оперативным разработкам» (ОР). Даже то, что имеет к ним лишь косвенное

отношение, подробно регламентируется на 60 страницах «Директивы № 1/76 по организации и проведению оперативных разработок». Уже первые фразы директивы определяют ключевое направление этого документа МГБ. Там сказано: «Для осуществления задач, поставленных перед МГБ руководством партии и государства, <...> вести подготовку исходных материалов для оперативных разработок прежде всего в целях обеспечения ведущих политико-оперативных участков и в целях работы на главных политико-оперативных направлениях. Это включает в себя в случаях, когда выявляются сведения о враждебно-негативных действиях за пределами определенных до того в качестве ведущих политико-оперативных участков, столь же целенаправленное обращение оных в исходные материалы для оперативных разработок либо расследование их иным образом.

Необходимо, чтобы все сведения о враждебно-негативных действиях своевременно учитывались и становились объектом внимательного изучения»⁹.

В рамках своих «оперативных разработок» МГБ могло применять самые строгие формы наблюдения. Исходным материалом служила тут как официальная, так и неофициальная информация; как правило, это был уже сгусток информации — например, по результатам так называемого «оперативного контроля за лицами» (ОКЛ), из каких-то других «оперативных разработок» или из иного материала секретных служб. Чтобы получить «добро» на проведение «оперативной разработки», нужно было подать рапорт для получения разрешения, где наряду с политико-оперативной и уголовно-правовой оценкой исходного материала и обоснованием политико-оперативных и уголовно-правовых предпосылок для проведения «оперативной разработки» указывались также и цели, достижение которых она должна была преследовать. В одновременно прилагавшемся к этому рапорту оперативном плане намечались поэтапные цели «оперативной разработки», оперативные мероприятия и силы, которые необходимо будет в ней задействовать («неофициальные сотрудники», техника). Составленное по форме «Ф-1» решение содержало лапидарное обоснование для проведения ОР. Особо в решении указывались ее кодовое название и уголовно-правовые обстоятельства дела.

Особой формой ОР была «централизованная оперативная разработка», которая охватывала весь процесс комплексной и скоординированной, как это называлось, *оперативной работы*. «Централизованная оперативная разработка» проводилась, к примеру, при пресечении торговли людьми, при борьбе с военным шпионажем, в контрразведывательной работе в сфере народного хозяйства, а также при работе с оппозиционными силами.

Разрешите мне привести несколько примеров «оперативных разработок», касающихся писателей.

Насколько концентрировано, используя «ноу-хау» секретной службы, действовало МГБ против одного писателя, которого оно квалифицировало как особо тяжелый случай «враждебно-негативного» поведения, видно из оперативного плана по проведению так называемой «подготовительной части оперативной разработки» (ПЧОР). Этот план прямо-таки по-генштабовски подразделяется на 4 комплекса. Как-то:

I. Задействование неофициальных сотрудников для проведения ПЧОР...

II. Необходимость вербовки новых неофициальных сотрудников для проведения ПЧОР;

III. Координация с другими подразделениями службы;

IV. Дознание и перепроверка.

Примерно каждые полгода этот оперативный план дополнялся и уточнялся.

В результате данная ПЧОР вылилась в «оперативную разработку», которая заполнила вскоре тысячу с лишним страниц. Оказавшийся объектом этой ОР писатель, перебрался потом в Западный Берлин. И многие из попавших в ходе оной «оперативной разработки» в ее поле зрения писателей тоже, кто раньше, кто позже, покинули ГДР.

Власть не терпела критически настроенной литературы в развитом социалистическом обществе. А то, что общество в результате с каждым разом становилось все более тусклым, людьми в высшем эшелоне власти, которые якобы так заботились о благе социалистического общества, но которые застыли в своей косности и были озабочены только тем, чтобы удержать эту власть, либо воспринималось искаженно, либо не замечалось вообще.

Давайте поговорим теперь о «главном оружии в борьбе с врагом»¹⁰ — о «неофициальных сотрудниках» (НС)¹¹. О тех, кого обычно называют шпииком, уже заходила речь в связи с «офицерами по руководству» и с «оперативными разработками». Для начала поставим здесь такой вопрос:

Как становились «неофициальными сотрудниками»?

Как вы, вероятно, уже и сами догадались, «неофициальными сотрудниками» не рождались — ими становились в результате отбора. Хотя и были люди, которые добивались этой работы, таких принимали крайне редко. МГБ искало людей, которых хотело завербовать в свои «неофициальные сотрудники», не наугад, а целенаправленно. Исходной точкой всегда было стремление утолить информационный голод СЕПГ, ибо это являлось одной из задач МГБ. В конечном счете именно в проблемных сферах ГДР — к коим относилась не только субкультура оппозиции, но

частично и гласное развитие искусства в ГДР — информированность и возможности управления ими со стороны СЕПГ, государства, общественных организаций и «партий единого блока» были все же недостаточными для того, чтобы быть в курсе всего, что происходило.

И тогда МГБ прибегало к услугам «неофициального сотрудника» как к «главному источнику информации».

Вплоть до 1989 года МГБ имело в своем распоряжении около 109000 «неофициальных сотрудников» различных категорий. Это были НСОР, НСОН, НСК, НСБ, ОСБ¹².

«Неофициальный сотрудник» — это человек, знавший о своем тайном сотрудничестве с Министерством государственной безопасности.

Само МГБ давало тут такое объяснение: *«Работа с неофициальными сотрудниками есть работа с людьми <...>, которые из позитивных общественных убеждений или из других побуждений заявили о своей готовности к неофициальному сотрудничеству с МГБ и с помощью которых мы совместными усилиями должны обнаруживать и ликвидировать врага»*¹³. «Неофициального сотрудника» надо было завербовать, а как это следовало делать, пунктуально излагалось, как и все другое, касающееся работы с «неофициальными сотрудниками», в постоянно обновлявшихся указаниях, приказах и директивах. О том, как должна выглядеть «целенаправленная конспиративная разведка» в целях нахождения кандидата, равно как и «вступление в конспиративный контакт», описывается в Директиве № 1/79, содержащей такие разделы как «Предложение на вербовку», детали самого процесса вербовки, и «Главные задачи на первом этапе сотрудничества со вновь завербованным НС». Следует отметить, что хотя МГБ в принципе было заинтересовано в письменном обязательстве о сотрудничестве со стороны НС, непременным условием это тем не менее не являлось.

Какую роль отводило МГБ «неофициальному сотруднику» в сфере искусства и культуры? Возьмем одного небезызвестного писателя, усердно работавшего в течение многих лет в качестве НС и задействованного на последнем этапе в операции «Романс», проводившейся в целях дальнейшего, как это называлось, «оперативного охвата» отделения литературы Академии искусств ГДР.

Вот какой сопроводительной запиской снабдил «Предложение на вербовку» этого НС подполковник Тишендорф, руководитель 7-го отдела Главного управления ХХ:

«В целях дальнейшего оперативного охвата отделения литературы Академии искусств ГДР вербовка кандидата, отвечающая заданиям по плану работы на 1988 год, представляется необходимой. В первую очередь речь идет о выявлении позиций

известных по оперативным разработкам писателей и деятелей культуры из секции литературы и языка Академии искусств ГДР (Стефан Хермлин, Криста Вольф, Гюнтер де Бройн) в области ревизии ими основополагающих культурно-политических принципов партии.

То же касается выявления и профилактического пресечения исходящих от них действий того же рода в ПЕН-Центре ГДР, которые могут оказаться дискриминационными для ГДР в международном плане.

Необходимо, чтобы предусмотренное сотрудничество осуществлялось тактично, на базе отношений доверия, установившихся в контактных беседах.

Прошу утвердить предложение». (См. MfS AIM 8602/91, S. 209).

В самом же «Предложении на вербовку НС» (подготовительной части операции «Романс»), занимающем 10 машинописных страниц, еще раз:

- 1) подчеркивается, зачем нужен НС;
- 2) дается оценка профессионального и политического уровня кандидата;
- 3) уточняются связи кандидата;
4. следует оценка оперативной ценности и перспективы сотрудничества;
- 5) еще раз показано (в разделе «План вербовки и дальнейшее конспиративное сотрудничество»): как направлять работу НС и руководить ею, включая и его первое конкретное задание.

Если же речь заходила собственно о литературе, то МГБ не только опиралось на официальные отзывы, которые оно запрашивало у партийных и государственных органов, но и часто прибегало к «профессиональным» услугам своих НС, чтобы максимально быстро заполучить в свои руки материал для использования его в оперативной работе.

В качестве одного из многочисленных примеров назовем здесь справку «тайного осведомителя Вольфа», представляющую собой рецензию на запрещенную сразу же после премьеры комедию Хайнера Мюллера «Переселенка, или Сельская жизнь». Приведем здесь выдержки из этой рецензии.

«Предметом пьесы является якобы великий перелом в «сельской жизни». В соответствии с этим ее точно датированное действие вроде бы разворачивается вокруг той великой перемены, которая ознаменовалась внедрением промышленности в сферу сельского ручного труда и в то же время определила и все дальнейшее развитие на селе. В конечном итоге, как это заявлено автором, пьеса показывает «исторические повороты»,

а ее действующие лица — это «конкретные люди, но вместе с тем персонажи истории.

Вопросов стиля и поэтики я не касаюсь, поскольку считаю, что если идея поставлена с ног на голову, то ее невозможно задрапировать ни стилистической, ни поэтической необходимостью, ни необходимостью учитывать вкусы публики. Пьеса не отвечает своей задаче по следующим причинам:

1. В действительности она вовсе не показывает великого перелома в сельской жизни. Она не затрагивает сути этого поистине великого перелома. За якобы главные проблемы выдаются проблемы третьестепенные, искусственно сконструированные.

2. Пьеса не показывает никаких исторических поворотов, она подменяет их другими, затушевывает их и обходит. А вот истинные исторические повороты в ней, как правило, с тем большей амбициозностью умяляются.

3. А все потому, что люди, выведенные действующими лицами, — это скорее умозрительные конструкции автора. Может быть, ему и знакомы такие «конкретные люди», но чтобы они были подлинными персонажами истории?! Конечно же, ими были те, кто не играет в его комедии никакой роли. Эта пьеса вызывает активное неприятие как с точки зрения самой ее концепции, так и в плане изображения деталей.

Комедия Мюллера содержит враждебные высказывания, не имеющие опровержения. Выпады против государства и партии, частью сформулированные весьма двусмысленно, не встречают здесь отпора. Под флагом критики протаскивается немало бросающейся в глаза неприемлемой, частью антисоциалистической, разлагающей контрабанды. Отношение государственной власти и антифашистского (впоследствии социалистического) строя к крестьянству представлено враждебно.

Трудолюбивый, преданный своему государству крестьянин в пьесе отсутствует. В ней присутствуют преимущественно деструктивные, а то и враждебные персонажи, которые признают новый строй в лучшем случае в двусмысленных выражениях. На странице 54 Мюллер устами одного из героев говорит, что не может быть девственниц там, где есть оккупационные власти. Партийные работники у Мюллера — это преимущественно оппортунисты или ревизионисты, а там, где у него появляются на сцене коммунисты, преданные линии партии, то они обязательно дураки или тупицы. Вообще Мюллер нацелен, если отвлечься от исключений, главным образом на то, чтобы показать прогрессивно настроенных людей олухами и принизить, а то и вовсе извратить достижения нового строя

и борьбу за воплощение его в жизнь. То же можно сказать и в отношении всего комплекса социалистической морали, который оценивается Мюллером совершенно деструктивно (с. 39 и след.). Думается, Мюллер не приемлет марксистского понимания морали».

Такого рода «рецензии» способствовали тому, что в данном случае на проводившемся Эрихом Мюккенбергером совещании в отделе культуры ЦК СЕПГ 2.10.1961 г. в 14.00 было принято такое решение: «Оценка — пьеса контрреволюционная»¹⁴. Далее в протоколе совещания говорится: «Несмотря на враждебный характер этой пьесы представители министерства культуры называли на этом обсуждении Хайнера Мюллера способным и талантливым автором, которого нужно продолжать поддерживать»¹⁵. Несмотря на уничижительную самокритику все кончилось тем, что Хайнер Мюллер за «его тогдашнюю контрреволюционную позицию, которая особенно проявилась в пьесе “Переселенка”», был исключен из Союза немецких писателей, — так написал старший лейтенант Эрацим в справке 1-го отдела Главного управления ХХ, озаглавленной «Мюллер, Хайнер»¹⁶.

Полноты изложения ради следует сказать, что Хайнер Мюллер, по его собственному признанию, несколько лет спустя сам имел беседы со «штази», потому что госбезопасность являлась якобы единственной интеллигентной инстанцией в ГДР, с которой еще можно было разговаривать¹⁷. Такое поведение я считаю весьма сомнительным, того же мнения придерживается и писатель Йоахим Вальтер, сказавший по этому поводу: «Это все равно, как если бы кролик пошел к волку, думая, что сможет поговорить с ним на равных»¹⁸.

Когда вспоминаешь, что СЕПГ проводила такую политику, которая вела не к устранению противоречия между духом и властью, а скорее к систематическому упрочению этого противоречия, тогда ничуть не удивительно, что МГБ, будучи «шитом и мечом» этой партии, занимало по отношению к литературе и искусству, да и к эстетическим проблемам вообще, ярко выраженную глухоту.

Закончить я хочу одной гипотезой.

Если допустить, что основной принцип разделения труда между СЕПГ и аппаратом безопасности выглядел в действительности таким образом, что партия брала на себя компетенцию по изданию политических директив, а МГБ отвечало за обеспечение и осуществление этой политики, то оказывается правильным тезис, что влияние МГБ на развитие литературы и искусства ГДР в действительности могло осуществляться только через его роль «шита и меча» партии. Но тем самым МГБ особенным образом было

приспособлено и к тому, чтобы более или менее жестко регулировать — читай: ограничивать — условия жизни и труда любого гражданина, а значит, и любого писателя. Какие последствия эта власть «штази» имела для творчества того или иного конкретного писателя — ответ на этот вопрос каждый из тех, кого это коснулось, в конечном счете может дать только сам. Может быть, это соображение будет немаловажным для дальнейшей дискуссии.

Примечания:

- 1 Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik vom 20. Dezember 1990 (STUG) — «Bundesgesetzblatt», Jahrgang 1991, Teil I, Nr. 67, S. 2272 ff.
- 2 Michalek K. In den Stasi-Archiven findet sich der zweite Text der DDR — «Berliner Zeitung» Nr. 55 vom 6./7. März 1993. S. 63.
- 3 См. Protokoll der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur «Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland».
- 4 Dienstanweisung 3/69 zur Organisierung der politisch-operativen Arbeit in den Bereichen der Kultur und Massenkommunikationsmittel — VVS-MfS 008-430/69.
- 5 Rede des Genossen Minister auf der Dienstberatung vom 13.7.1972 — GVS-MfS 008-390/72, Bd. 2.
- 6 Dresen A. in: Vom Aufbruch zur Wende. Theater in der DDR. Sonderdruck «Die Deutsche Bühne». Hrsg. K. Lennartz bei Velber 1992, S. 80.
- 7 См. об этом совершенно секретные сводки ЦГАИ (Центральная группа анализа и информации) МГБ.
- 8 Richtlinie 1/68 für die Zusammenarbeit mit Gesellschaftlichen Mitarbeitern im Gesamtsystem der Sicherung der Deutschen Demokratischen Republik, Januar 1968 — GVS-MfS 008-1001/68.
- 9 Richtlinie 1/76 zur Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgänge (OV) — GVS-MfS 008-100/76.
- 10 Richtlinie 1/79 für die Arbeit mit Inoffiziellen Mitarbeitern (IM) und Gesellschaftlichen Mitarbeitern für Sicherheit (GMS), 8.12.1979 — GVS-MfS 0008-1/79.
- 11 См. среди других материалов Müller-Engberd H. «Der Inoffizielle Mitarbeiter» — «Damals» Nr. 6/1993 (Stuttgart).
- 12 Приводящиеся ниже разъяснения взяты из «Перечня используемых сокращений в бывшем МГБ», составленного в 1992 г. архивным отделом Ведомства по изучению документов госбезопасности.

ТО — тайный осведомитель (GI — Geheimer Informant), так называли «неофициальных сотрудников» до 1968 г.

ОСБ — общественный сотрудник безопасности (GMS — Gesellschaftlicher Mitarbeiter für Sicherheit), низшая категория «неофициальных сотрудников» МГБ с 1968 г.

НС — неофициальный сотрудник МГБ (IM — Inoffizieller Mitarbeiter des MfS), раньше этим обозначением пользовались и в отделе тайных осведомителей уголовной полиции.

НСНР — неофициальный сотрудник по непосредственной работе (IMV — IM zur unmittelbaren Bearbeitung) с лицами, подозреваемыми во враждебной деятельности, и для работы по выявлению вражеских организаций и сил.

НСОН — неофициальный сотрудник особого назначения (IME — IM im besonderen Einsatz), например, НС-эксперты, НС-дознаватели.

НСК — неофициальный сотрудник по обеспечению конспирации (IM sur Sicherung der Konspiration); здесь применялись также сокращения:

КК — конспиративная квартира (KW — Konspirative Wohnung),

ОК — объект конспирации (КО — Konspiratives Objekt),

КА — конспиративный адрес (DA — Deckadresse),

КТ — конспиративный телефон (DT — Decktelefon),

пр. — прочее (S — Sonstiges).

НСУП — неофициальный сотрудник уголовной полиции (IMK — Inoffizieller Mitarbeiter der Kriminalpolizei).

НСБ — неофициальный сотрудник безопасности (IMS — Inoffizieller Mitarbeiter für Sicherheit).

НСДО — неофициальный сотрудник, имеющий доверительные отношения (IMV — Inoffizieller Mitarbeiter mit vertraulichen Beziehungen) с лицами, проходящими по оперативной разработке. Это обозначение используется до 1979 г. (НСДО соответствует НСНР). Сокращение IMV обозначает также предварительную работу по вербовке неофициального сотрудника (IM-Vorlauf).

¹³ См. Reihe A: Dokumente Nr. 1, die Inoffiziellen Mitarbeiter. Richtlinien, Befehle, Direktiven (I) und (II). Hrsg. von der Abteilung Bildung und Forschung beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.

¹⁴ Informationen über Vorbereitung und Beginn der Theaterwoche der FDJ Studentenbühnen. Papier der Abteilungen Kultur/Studenten vom 03.10.1961.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ См. MfS AOP 1958/71.

¹⁷ См., напр., Müller H.: Originalton aus dem Interview mit dem «Spiegel-TV» am 10.01.1993 — «Berliner Zeitung» vom 12.01.1993.

¹⁸ Walther J. in: «Frankfurter Allgemeine Zeitung» vom 21.01.1993.

Виталий ШЕНТАЛИНСКИЙ
писатель, координатор работы Комиссии по
наследию репрессированных писателей

Арестованные рукописи

В ответ на призыв больше говорить о литературе, призыв вполне справедливый, я постараюсь больше говорить о литературе, чем о КГБ, в частности, о следственных делах писателей и тех рукописях, которые удалось спасти на Лубянке, в Прокуратуре и в других секретных архивах, то есть о той позитивной работе, которую удалось все-таки провести, несмотря на Смутное время.

Итак, в конце 1988 года мы создали комиссию, которую назвали Комиссией по наследию репрессированных писателей. Туда вошли такие известные литераторы, как Булат Окуджава, Юрий Карякин, Анатолий Жигулин, Юрий Давыдов, Виктор Астафьев, многие достойные люди. Целью Комиссии было открыть потаенную, подводную часть того айсберга, который называется нашей литературой. Речь шла в основном о судьбах репрессированных писателей — *«хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать...»*, как говорила Анна Ахматова. Но мы попытались посчитать, насчитали около двух тысяч имен литераторов, которые были подвергнуты репрессиям за годы советской власти. Точнее сказать не может никто, поскольку нет еще вполне четкого определения — что такое писатель. Полторы тысячи писателей погибли в тюрьмах и лагерях, некоторые пропали без вести — это была война, война литературы и власти, и были без вести пропавшие в этой войне, были убитые. Мы хотели узнать правду о жизни и смерти этих писателей и главное, конечно, на что мы надеялись, — на обнаружение рукописей.

Год примерно ушел на то, чтобы пробить саму идею Комиссии, чтобы ее общественный статус был закреплен, еще год ушел на то, чтобы добраться до первого следственного дела. Это было нелегко, началась борьба, потому что сама система нашей жизни, рассчитанная на преступление и сокрытие его, не способствовала этому. Сталин умер, но у нас осталось очень много сталинчиков, они всюду, и много доносчиков, которые отнюдь не заинтересованы в нашей работе и препятствуют ей, как только могут. И я должен сказать доброе слово в адрес «архитектора перестройки» Александра Яковлева, который на первоначальном этапе нам очень помог. Без его помощи, наверно, эта работа и не началась бы тогда. На лубянских досье стоит гриф «совершенно секретно»,

и работникам Лубянки надо было идти на нарушение закона, чтобы нам что-то показать! Но нашлись и там добровольные помощники. Это были единицы, но они были.

Речь, собственно, шла о двух пластах литературы. Первый пласт — то, что сохранили сами люди, то, что они прятали десятилетиями. Это не только документы, но и художественные произведения, имеющие ценность не только для истории, но и для литературы. Рукописи — до сих пор не увидевшие свет, имена — неизвестные. Такие, например, как Ефросинья Керсновская. То, что сделала эта женщина, — двойной подвиг, и человеческий, и писательский. Она не только пережила, победила гулаговский ад, но и оставила после себя памятник — написала книгу в тысячу страниц, там семьсот рисунков, — где изобразила все свои хождения по мукам. Эта книга должна войти в историю мировой культуры. Нина Гаген-Торн, Георгий Демидов, присутствующий здесь Петр Демант, узник Колымы, написавший прекрасную и страшную книгу «Зекамерон XX века»... В условиях нашей жизни, тоталитарного режима тысячи разных людей, не писателей, обратились к Слову как к последнему глотку свободы, и этот свой выход к свободе реализовали через Слово, стали писать. Может быть, при нормальной жизни они никогда бы и не взялись за перо. Сразу же после создания Комиссии к нам устремилась целая лавина рукописей, документов, писем, воспоминаний, стихов и рассказов — до сих пор люди все это прятали и боялись показывать, под страхом обыска и ареста. У нас сейчас образовался большой архив. Это первый пласт.

И то, что казалось почти невероятным, — прорыв в секретные архивы, его тоже все-таки удалось осуществить. Мы создали рабочую группу, в которую предложили войти, кроме писателей, сотрудников КГБ и Прокуратуры — «антитройку», в которой, в отличие от печально знаменитых «троек», при Сталине расстреливавших людей без суда и следствия, место представителя партии занял бы представитель нашей Комиссии. И начали смотреть следственные дела писателей, одно за другим, и искать то, что там уцелело. Давали не сразу, давали с боем — все этом приходилось добывать, и ездить на Лубянку, и работать с этими рукописями, переписывать, просить копии... Что-то давали, что-то нет. Давали, например, один том из двухтомного дела, и приходилось требовать второй том; давали второй том, но оказывалось, что там есть пакет с собственноручными показаниями и он пуст, — приходилось требовать эти собственноручные показания, наконец, появлялись и они... В итоге эта работа позволила уточнить очень многое в биографиях писателей, даты их смерти, обстоятельства гибели, и сделать поправки к энциклопедиям, потому что до сих пор они выходят с фальсифицированными данными и надо их переписать

вать заново, как надо переписывать заново всю историю нашей литературы.

В работе с архивами Лубянки есть трудности особого рода. Ведь все следственные дела писателей фальсифицированы. И надо в этом море лжи найти крупинки правды, надо расколдовать эти досье истории. И разминировать, потому что они взрывоопасны. Это не академический кабинетный материал — стряхнул пыль и читай, — эти досье тысячами нитей связаны с живыми людьми, и необходимо разобраться, где ложь, где правда, где интимные тайны, что — обнародовать, что — проверить, а о чем и вовсе не говорить. Надо было обо всем этом подумать и настроиться на кропотливую спокойную работу, а не на сенсацию, не на буф.

Неожиданной трудностью была совершенно неадекватная реакция общества на нашу работу. Я наивно думал, что все обрадуются. А оказалось, что правда людям не очень нужна, что им нужна их маленькая правда — или правда отдельного человека или правда какой-то политической группы. Расколотое зеркало правды!.. И каждому довольно осколка, чтобы увидеть свое лицо, — и в осколке поместится! А вот все зеркало — пугало! И эта большая правда оказалась настолько неприемлемой, что на Комиссию обрушились обвинения со всех сторон.

Трудности, которые я перечислил, очень мешали работе, тем более, что велась она, скажу откровенно, партизанскими методами. Это труд для целого научно-исследовательского института, а делался он одиночками, на голом энтузиазме и очень зависел от политической ситуации. КГБ, как раковина, то сжимал створки, готовый отхватить руку, то немножко разжимал, чутко реагируя на все изменения политического климата.

Вероятно, для вас наиболее интересно было бы услышать, а что, собственно, удалось обнаружить в архивах, о самих находках и открытиях. Первым делом, которое легло на стол «антитройки», было следственное дело Исаака Бабеля. Из него удалось узнать, например, о чем говорил писатель незадолго до ареста и чего не доверял даже бумаге. Об этом услужливо докладывали стукачи. Парадокс — благодаря доносчикам, мы можем узнать теперь подлинные мысли большого художника... Немаловажными я считаю и сведения об обстоятельствах жизни, даже личных, — ведь когда речь идет о таком мастере, личное чаще всего становится и творческим, и общественным. В основе ареста Бабеля лежала личная месть наркома внутренних дел Ежова, ревновавшего свою жену к Бабелю, с которой того действительно связывали близкие отношения. Бабель был арестован через несколько дней после показаний Ежова, в которых он назвал свою жену и Бабеля шпионами. Это главное обвинение в деле.

Трагична последняя попытка Бабеля прорваться к своему

писательскому труду, будучи на Лубянке и понимая, что его все равно расстреляют, он начал в своих показаниях выгораживать других людей и попытался прорваться к своим рукописям — просил о возможности еще над ними поработать. Ему не дали этого сделать, но мы хотя бы знаем теперь, что именно было конфисковано. А вместе с Бабелем в застенки Лубянки попали двадцать две папки его произведений — на несколько томов! Он печатался мало, очень дорожил своим словом. И вот, из-за Лубянки, мы уже никогда, собственно, и не узнаем во всей мощи этого писателя. Ну, представьте себе, — Бабель без нескольких лучших томов! Видимо, они все уничтожили, поиски не дали никаких результатов.

Единственно, куда никто до сих пор не заглядывал, насколько я знаю, — это так называемые агентурные дела или материалы слежки. Сохранились ли они, неизвестно, на них не было грифа «хранить вечно» и «хранить постоянно», поэтому их могли уничтожить, после того, как, например, человека расстреливали или после того, как человек умирал. Конечно, слежка велась за всеми достаточно крупными личностями. Но вот когда спрашиваешь об агентурных делах, Лубянка кивает на Верховный Совет — пусть высшая власть решает, мы не имеем права... Но Верховный Совет, пока он существует, ничего не решит, а Лубянке, видимо, выгодно, чтобы он ничего не решал. Потому агентурные дела — это труд, который нам еще предстоит. Дай Бог, чтобы не все там уничтожили!

Очень интересна история с дневником Михаила Булгакова. У него в свое время был обыск, изъяли дневник, и три года писатель добивался возвращения своей рукописи. Когда ему вернули, он тут же ее сжег. Но не сожгли они — прежде чем отдать, сняли копию и тем самым сохранили дневник для нас. И вернули, сравнительно недавно, сыграв таким образом роль Волагда из «Мастера и Маргариты», который говорил: «Рукописи не горят...» Чисто булгаковский сюжет!

Там же, на Лубянке, обнаружилось секретное досье на Михаила Булгакова, заведенное по поводу его письма правительству, с резолюцией Ягоды, который, видимо, учитывая волю Сталина, разрешал Булгакову жить и работать. Резолюция такая: «*Разрешить ему работать, где пожелает...*» И там же — подлинник знаменитого письма Булгакова правительству с пометками Ягоды, который, видимо, был одним из первых, если не первым читателем этого письма, подлинник, подписанный самим Булгаковым. Значительная находка, я считаю, потому что печатались разные варианты письма, очень важно с точки зрения отношений власти и художника, и теперь могут, наконец, кончиться кривотолки, относительно того, каким это письмо было, в каком виде Сталин

его читал. Это оригинал, вместе с сопроводительной запиской Булгакова в ОГПУ — письмо он послал правительству через это заведение, видимо, считал, что так оно вернее дойдет.

Павел Флоренский, религиозный философ и ученый, «русский Леонардо да Винчи», как его называют теперь. Мне удалось изучить материалы трех его следственных дел. В одном обнаружилась рукопись его статьи, внуки Флоренского уже подготовили ее к печати. И тоже едва ли не самое любопытное там — доносы. Перед расстрелом, на Соловках отец Павел Флоренский был окружен плотным кольцом стукачей, которые докладывали буквально о каждом его шаге, каждой фразе. Это все мы можем сейчас прочитать, можем впервые назвать точную дату и обстоятельства его гибели.

Кстати, к истории самиздата. Теперь, когда проводят многочисленные конференции, выходит много разных публикаций на эту тему, часто упускают из виду один момент: самиздат начался не в 60-ые годы — он существовал с первых лет советской власти, и в следственных делах писателей можно найти немало самиздатовских текстов. Вот и в деле Флоренского 1928 года есть две статьи Николая Бердяева. Это не автограф Бердяева, но кто-то переписал статьи, этого человека арестовали, расстреляли, а рукописи остались.

Еще одна важная, почти не исследованная тема. Множество писателей погибло прежде, чем мы их узнали, и мы не знаем их до сих пор. Положим, была целая плеяда учеников поэта Максимилиана Волошина. Их арестовали за стихи Волошина, которые они хранили, в том числе, за те стихи, которые цитировались здесь сегодня, прекрасные стихи. Это были молодые поэты, юноши, девушки, которые обожали своего учителя. Сам он не был арестован, но арестовали их и погубили, по существу, за его стихи. Там же остались и их собственные сочинения, среди них есть и очень интересные и их надо публиковать, это тоже будет обогащением исторической памяти и литературы. Нам предстоит по крупицам собрать нашу литературу, как то расколотое зеркало правды или мозаичное полотно.

Борис Пильняк. Очень наглядно демонстрирует его дело то, как использовалась литература в криминальных целях. Там, например, подшит отзыв Маяковского о Пильняке, о его повести «Красное дерево», где великий поэт революции говорит, что печатание своих произведений за границы равносильно фронтовой измене, что это сдача оружия в арсенал врага. Ну ясно, что за фронтową измену причитается! И это пришито к делу, как улика, как донос. Конечно, Маяковский не писал доносов, но власти использовали его как доносчика. Вообще, можно написать специальное исследование на тему «Донос как жанр соцреализма» — это был процветающий жанр в советской литературе, у него были свои классики, свои разновидности и, надо сказать, этот

жанр процветает до сих пор. Были доносы и на нашу Комиссию, чтобы не пускали нас в архивы. Те, кто нам помогал на Лубянке, смущенно говорили: «На вас катят телегу, мы уж как можем утишаем это дело, но вы будьте осторожней, имейте в виду...» И кто писал! Иногда сами же репрессированные не хотели, чтобы до их дел кто-то добрался, чтобы кто-то вторгался в их судьбу. А между тем мы только прикоснулись к этому историческому материалу, мы смотрели только следственные дела, а есть агентурные, есть так называемые надзорные производства в Прокуратуре, которые тоже надо изучать и которые содержат иногда такие материалы, каких нет на Лубянке. Предсмертные записки Бабея мне удалось найти как раз в Прокуратуре, а в следственном деле их нет, и о них даже не подозревали на Лубянке. Есть еще тюремные дела. Так что тут работа огромная.

В досье Осипа Мандельштама обнаружился поразительный документ — если когда-нибудь будет создаваться музей мировой литературы, то ему место там — автограф знаменитого стихотворения Мандельштама против Сталина, записанный на Лубянке по приказу следователя. Когда поэт делал это, он, конечно, подписывал себе приговор, но стихи написал и подписал, от слова своего не отрекся. Прояснились обстоятельства, сопутствовавшие Мандельштаму на пути к аресту. Это доносы. Союз писателей, его руководители Штавский и Павленко, просто умоляют Ежова посадить Мандельштама как можно скорее. *«Поэт это слабый, пахнет Пастернаком... Ничего нового не написал... — так Павленко аттестует Мандельштама, — так что убытка литературе никакого не будет, но вот от белой вороны избавимся».*

Вообще, Союз писателей, конечно, был филиал НКВД, как был филиалом НКВД и дом Горького. Роль литературных функционеров — Авербаха, Гронского, Фадеева — во всей своей наготе и откровенности предстает из следственных дел. Леопольд Авербах — глава РАПП (Российской ассоциации пролетарских писателей)... Если какой-нибудь литератор хотел посадить своего противника, он что-нибудь рассказывал про него Авербаху, будучи уверенным, что тот, в свою очередь, расскажет об этом своему близкому родственнику Ягоде — главе ОГПУ (Авербах был не только родственником, но и политическим и литературным советником Ягоды). Иван Гронский — известная фигура, редактор «Известий», «Нового мира», председатель Оргкомитета Союза писателей, выполнял три функции: во-первых, был доверенным лицом Сталина в литературе, исполнял его личные поручения и докладывал ему, кто чем пахнет, кроме того, он был литературным функционером и еще он был просто осведомителем НКВД, в его следственном деле есть доказательство этому.

Существует такое рассуждение, что нравственность и искусство — две вещи несовместимые, что художнику позволено все, лишь бы был талантливым. Но вот я заметил одну закономерность: чем талантливее писатель, тем он последовательней, определенной держится и при выпадающих на его долю испытаниях. Два больших поэта — Осип Мандельштам и Николай Клюев — они не подделывались под следствие, они говорили вещи для себя совершенно убийственные, с точки зрения следствия, но не играли, не виляли. Может быть, талант — это цельность? Или его принимай таким, какой он есть, или его уничтожь. Эта закономерность очень заметна. Были очень интересные писатели, артисты, которые начинали вилять, меняли тактику, заводили куда-то, сами запутывались, словом, вели игру. У Мандельштама и Клюева не было игры абсолютно. Это было или детство, или идиотизм с точки зрения элементарного здравого смысла, но они не подделывались — оставались самими собою.

К счастью, уцелели в подвалах Лубянки и рукописи, не все были уничтожены. Самая интересная из них — это неизвестный «Технический роман» Андрея Платонова и поэма Николая Клюева «Песнь о Великой Матери». Начинаешь верить в мистическую, неземную силу поэзии, когда читаешь строки Клюева:

*К нам вести горькие пришли,
Что больше нет родной земли,
Что зыбь Арала в мертвой тине...*

«Зыбь Арала в мертвой тине...» Мы знаем, что Аральское море перестало быть морем совсем недавно, — как поэт мог в начале 30-х годов, когда писалась поэма, увидеть «зыбь Арала в мертвой тине»?

*К нам вести горькие пришли,
Что Север — лебедь ледяной —
Истек бездомною волной,
Оповещающая корабли,
Что больше нет родной земли...*

Что это значит — «бездомная волна» Севера? Не есть ли это — безумный проскот поворота северных рек на юг, чуть не осуществленный в брежневское время? Или о Чернобыле:

*Вот упала полярная звезда,
Стали воды и воздуха желчью,
Осмердели жизнь человечью.
А и будет Русь безулыбной,
Стороной нептичной и нерыбной!..*

«Полынная звезда» — Чернобыль — Апокалипсис, это понятно, но почему именно в контексте всех пророческих прозрений Ключева идет именно в Чернобыль? И последнее, совсем уж удивительное:

*К нам вести горькие пришли,
Что в светлой Саровской пустыне
Скрипят подземные рули...*

Саровская пустынь — место, где в XIX веке проповедовал святой Серафим Саровский, — только теперь открылось, что там расположен страшный город Арзамас-16: где двадцать лет работал академик Андрей Сахаров, где испытывалось ядерное оружие и даже какие-то составные части атомных подводных лодок. Это сейчас выяснилось, а Ключев в 1932 году писал:

*Что в светлой Саровской пустыне
Скрипят подземные рули...*

Как может такое прийти в голову, если ты не пророк?

Понятно, почему держали эти рукописи взаперти более полувека. Я не знаю, как это назвать, — курьезом или трагедией, но и классика наша тоже оказалась под арестом. Например, в архивах КГБ удалось найти неизвестное письмо Льва Толстого. Толстой на Лубянке! Кстати сказать, письмо Толстого тоже очень актуально — это как бы послание, обращенное в наши дни. Он говорит — не надо переделывать других, переделайте себя, тогда и другие станут лучше. Зло в первую очередь ищите в себе, зло внутри человека, а не вне его.

В работе Комиссии сейчас возникли новые трудности. Есть у нас помещение в Союзе писателей, есть архив, есть возможность работать. Но мы совершенно лишены экономической базы, материальной поддержки. Союз писателей, как вы знаете, бесславно развалился, и то, что там творится, можно назвать криминальной комедией. Государству наплевать на нашу культуру и литературу. Политики заняты не «разумным, добрым, вечным», а злобой дня, борьбой за власть. История воздаст им по заслугам. Мы подготовили сейчас несколько изданий, но не можем их издать, нет средств. Мы собрали материалы для «Книги памяти» — биографического словаря репрессированных писателей, подготовили сборник их произведений «Возвращение», интереснейшую серию книг «Острова ГУЛАГа»... Все это лежит в рукописях. Я обращаюсь ко всем вам: если кто-то заинтересован в том, чтобы совместно проводить эту работу, здесь, на Западе, давайте объединим свои усилия. Спасем наследие репрессивных писателей! Это нужно не только России, но и всей мировой культуре.

Олег КАЛУГИН
Дело КГБ на Анну Ахматову

Я избавлен от необходимости делать обобщения — за это взялись и в этом преуспели и профессор Эткинд, и Валентин Оскоцкий, и г-н Шенталинский, они подробно осветили роль госбезопасности в области культуры в целом, и литературы, в частности. Господин Матиас Браун превосходно раскрыл ситуацию в бывшей ГДР. Работа по этой линии велась в ГДР на очень высоком уровне, и это неудивительно. Взаимопроницаемость российской и германской культур хорошо известна, и если оставлять в стороне духовную сторону этого взаимопроникновения, то в части, касающейся бюрократии и вооруженных сил, мы всегда многое заимствовали в Германии XVII—XVIII вв., в немцы заимствовали в России то, что накопила госбезопасность после 1945 года. Немцы преуспели, потому что их всегда отличала аккуратность, педантизм, внимание к деталям, тогда как нас всегда отличало разгильдяйство, безответственность и любовь к общей фразе. Но тем не менее, коль скоро тема, заданная мне, касается персоналий и речь идет об агентурных делах, я остановлюсь на деле Ахматовой. Объясню, почему.

В сущности, все эти дела — типовые — будь то дело на Даниила Гранина, или на Георгия Товстоногова, или на Веру Кетлинскую, или на Ольгу Берггольц, или на ту же Анну Ахматову. Это документы оперативных работников, записки в ЦК, в обкомы партии, официальная информация, сведения, накопленные из различных опубликованных источников, и конечно, огромная подборка агентурных материалов — доносов, материалов подслушивания квартир, туалетов, спален, телефонов, негласных выемок. Кстати, вот эти тайные обыски практиковались и практикуются поныне весьма часто. Также это результаты наружного наблюдения, то есть физического наблюдения за объектами во время их поездок ил походов по городу или по стране.

Я расскажу об Анне Ахматовой — как ее «обслуживало» КГБ, прежде всего, с точки зрения доносительства. Мы все об этом говорим, рассказываем, намекаем, делаем сноски. А как все происходит в этом аппарате? Что они там пишут? И что, собственно, КГБ собирает, и ради чего?

Здесь я должен немного поспорить со Львом Тимофеевым относительно того, о чем мы говорим: о литературе и КГБ или о

писателях и КГБ. Я думаю, КГБ безусловно оказывал влияние на литературный процесс, ибо литературный процесс не происходит в вакууме. Писатели или поэты создают свои произведения в определенных условиях, в определенном настроении, будь то страха или подозрительности, восторженности или любви; и КГБ мог создавать такие настроения, он был одним из мощных факторов влияния на творческий процесс, он лепил свой образ человека — писателя или поэта, может быть, во многом сходный с тем образом, который имеем мы с вами, а может быть, и свой отдельный. И особенно обращая внимание на личностные характеристики объекта, КГБ всегда видел в этом возможность манипулирования, для того, чтобы как бы рычагом оказать давление на ту или иную личность. Возьмите в качестве примера Постановление 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград». Ведь оно, в сущности подготовлено по материалам КГБ. Там даже оценки некоторые — чисто КГБ-шные, они прямо взяты из доносов. Это — реплика на высказывания уважаемого Льва Тимофеева о том, обсуждаем ли мы вопросы творческие, литературные, или обсуждаем соотношение писатель — КГБ.

А теперь — об Анне Ахматовой. Я бы назвал свое сообщение «Неизвестные страницы биографии». Возможно, они большинству и известны, но, опять-таки повторяю: это — биография, поданная изнутри, та поднаготная закулисная сторона, которую так любил КГБ, и ради выявления которой он и трудился. В своем сообщении я оперирую главным образом донесениями осведомителей, близко знавших, посещавших Анну Ахматову и работавших с ней. Некоторые скабрзности я убрал, чтобы не шокировать слушателей, сохраняя стилистические особенности их доносов. Кстати, очень хорошо сказал Шенталинский: *«На базе доносов можно было создать великолепные образцы соцреализма особого жанра, потому что там были не бездарные люди. Они хорошо писали, у них был нюх, характеристики блестящие, как бы проникновение внутрь человека, его характера и психологии, и это все ложилось на бумагу и передавалось оперу (как это говорят в шутку).»* И так — к Анне Ахматовой. Конечно, вам известны ее строки:

*Да, я любила их, те сборища ночные,
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над черным кофеом пахучий тонкий пар,
Каминка красного тяжелый зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки
И друга первый взгляд — беспомощный и жуткий.*

Это написано давно. Все мы знаем, что Анна Ахматова любила жизнь, она ее воспела — и бессмертие любви, и горечь потерь, и

страсть по чистой, великой Правде, с которой ей не пришлось свидеться в-ее многостарадальной жизни.

Как и миллионы ее соотечественников, Анна Ахматова чувствовала и знала, что за ее спиной копошится какая-то темная сила, способная сокрушить все живое, все несогласное, все непохожее на убожество нашего коммунального бытия. Но она несмотря ни на что продолжала жить своей жизнью, и разве могли пройти мимо этого славные чекисты страны Советов?

В 1927 году агент ОГПУ Лукницкий доносил:

«— 10 июня собрались у Алексея Толстого на чествование артистов МХАТ. Съезд назначили на 12 ночи. Были: Москвин, Качалов, Книппер, еще двое-трое менее известных актеров, а также: Замятин, Федин, Никитин, Ахматова. Обильный ужин, много вина. Замятин, как обычно, говорил колкости, Качалов предложил Толстому поцеловать Ахматову.

— Не буду, — возразил Толстой, — она мне даст в морду.

Никитин грубо ухаживал за пятнадцатилетней дочкой Толстого, Ахматова его стыдила. Качалов читал стихи. Ушли около девяти утра. Федин провожал Ахматову до дому. В ходе вечеринки Замятин сказал между прочим, что не видит достоинства в стихах Ахматовой, игнорирует ее как поэта. Аня же сказала, что любит Замятина за честность, прямоту, смелость, чувство собственного достоинства. Ее сын получает от нее по 10—20 руб. в 1,5—2 месяца, живет у матери Гумилева в Бежецке Тверской губернии».

Это донесение, как и десятки ему подобных, но из других источников, я обнаружил в середине 80-х годов в архивах Управления КГБ по Ленинградской области, где, как, возможно, некоторые из вас знают, я работал в качестве первого заместителя 7 лет (с 1980 по 1987 гг.). В КГБ существует на человека «Дело оперативной разработки» — «ДОР». Это высшая категория дела. За ней следует санкция прокурора на реализацию: арест или официальное предупреждение (но это уже дело юстиции). Именно такое «Дело» было заведено на Анну Ахматову в 1939 году с окраской: «Скрытый троцкизм и враждебные антисоветские настроения», где содержались материалы, собираемые органами Госбезопасности в течение многих предшествующих и последующих лет. «Дело» содержало немногим меньше 900 страниц и составляло 3 тома.

Как бывшая жена расстрелянного «контрреволюционера» поэта Гумилева, она попала в поле зрения чекистов еще в 20-х годах. Эпизодические сообщения агентуры ОГПУ-НКВД не давали повода для беспокойства. Ахматова замкнулась в себе, почти ничего не писала, но под пристальным наблюдением находились ее близкие — муж, Николай Пунин, и сын, Лев Гумилев. В октябре

1935 года по инициативе Ленинградского НКВД оба были арестованы. Санкции на арест Ахматовой не дал тогдашний глава НКВД Ягода. Он отказал ленинградским чекистам. После эмоционального обращения Ахматовой к Сталину Ягода, в соответствии с указанием вождя, приказал освободить арестованных и прекратить дело.

Однако в 1938 году при Ежове, ленинградские чекисты вновь просят НКВД санкционировать арест Пунина и Гумилева. Как видно из материалов следствия, на допросе Пунин показал, что Ахматова всегда была настроена антисоветски и никогда этого не скрывала. А Лев Гумилев, видимо, после избиения, сказал: «Мать неоднократно говорила мне, что если я хочу быть ее сыном до конца, я должен быть прежде всего сыном отца». Это взято из материалов следствия, допросов Льва Гумилева.

Заведенное «Дело» на Ахматову продолжалось в Ташкенте, куда она эвакуировалась в годы Второй мировой войны. В ленинградском «Деле» материалов этого периода не имеется — возможно, они еще находятся в Ташкенте. Однако, дело возобновляется в Ленинграде, в 1945 году (она вернулась в город в 1944-м). Но на этот раз — по совершенно абсурдному подозрению: Ахматова — английский шпион. Дело по шпионажу, 1945 год. Поводом для заведения дела послужило посещение коммунальной квартиры Ахматовой Первым секретарем Посольства Великобритании в Москве, профессором Оксфордского университета, Белиным. Белин проявил повышенный интерес к Ахматовой, и, как сообщили местные стукачи, даже признавался ей тогда в любви. После этого эпизода Ахматова была обставлена агентурой, в квартире у нее, на Фонтанке 34, была оборудована техника подслушивания. Среди агентов, которые ее окружали, особой активностью отличались некая переводчица, полька по происхождению, и научный работник-библиограф (фамилии этих людей мне известны, но я предпочитаю, чтобы вы сами их нашли, если будете в этом заинтересованы). Ахматова становится объектом тщательной проверки, но на наш, чекистский, лад. Дотошно устанавливаются, в первую очередь, ее связи. Но они, как на подбор, все находятся в поле зрения органов МГБ. Борис Пастернак тоже подозревается в контрразведке, как английский агент. Илья Эренбург, Ольга Берггольц, Эфрос, Кетлинская — как злостные антисоветчики. На всех этих и многих других лиц ведутся дела. Таким образом, Ахматова сразу же попадает в определенную атмосферу, и здесь пришлось немало поработать ленинградским чекистам, чтобы ввести к ней лиц, которым можно было доверять. Выше упомянутые две фигуры были наиболее эффективны, с точки зрения доносительства.

Сообщения осведомителей пестрят, конечно, высказываниями

Ахматовой, сделанными в частных беседах. Я процитирую слова Ахматовой, но этот текст — из доносов, прошу иметь в виду.

«— Союз писателей — это идиотский детдом, где всех высклели и расставили по углам. Девочка Аня не хочет играть со всеми и кушать повидло».

Далее:

«Дикость русских и их терпение перебили культуру и немцев в войне» — вообще, почти антисоветское, непатриотическое высказывание (это комментирую, разумеется, я, не они).

«Участь русской поэзии — быть на нелегальном положении. Печатают макулатуру — Симонова, а Волошина, Ходасевича, Мандельштама — нет».

«Кино — театр для бедных» (Это — почти афоризм).

Но больше всего, конечно, оценок личного свойства, потому что это те маленькие кнопочки, необходимые КГБ для того, чтобы можно было вовремя нажать, в удобное, политически целесообразное, время. И вот — своеобразные портреты, выписанные с учетом интересов и потребностей Госбезопасности:

Один из осведомителей, дама — та самая полька-переводчица — сообщает: «Знакомств у Ахматовой множество. Близких друзей нет. По натуре она — добра, расточительна, когда есть деньги. В глубине же холодна, высокомерна, детски эгоистична. В житейском отношении — беспомощна. Зашить чулок — неразрешимая задача. Сварить картошку — достижение. Несмотря на славу, застенчива. После 6—8 лет негласной связи с патологоанатомом, профессором Гаршиным, разошлась. Ко всем своим бывшим мужьям и любовникам относится враждебно, агрессивно. Заботится о чистоте своего политического лица, гордится тем, что ей интересовался Сталин. Очень русская. Своим национальным установкам не изменяла никогда. Стихами не торгует. Дом писателей ненавидит как сборище чудовищных склочников. Хорошо пьет и вино, и водку».

В другом сообщении, по просьбе работников МГБ, уточняются детали: «Ахматову всегда окружали поклонники и верной женой она никогда не была. После развода с Гумилевым, который ей открыто и много изменял, вышла замуж за профессора археологии. Он — мистик, со странностями. Затем жила 16 лет с Пуниным. Оба изменяли друг другу. В эвакуацию уезжала с невенчанной женой профессора Гаршина — ему посвящено много строк в поэме «Без героя». Он посылал ей деньги в Ташкент до 1944 года, а когда она вернулась в Ленинград, встретил ее холодно, даже к себе не пригласил. Жить было негде, но сжалился Пунин и пригласил на свою жилплощадь. Ахматова считает, что Гаршин обарахлился антиквариатом во время блокады, торговал казенным спиртом, брал взятки. С сыном Львом

отношения прохладные, хотя, внешне и хорошие. После выпивки Ахматова лезет целоваться, но специфично: гладит ноги, грудь, расстегивает платье. Отсутствие реакции ее раздражает и она тожно приговаривает: «Я сегодня, лично, в меланхолическом настроении». Во многих отношениях беспомощно царственна: ничего не убирает за собой; единственный ее красивый туалет — японский халат, привезенный в подарок из Германии».

После известного Постановления ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором Ахматову зачислили в представители безыдейного, реакционного литературного болота, называли взбесившейся барынькой с маленькой, узкой личной жизнью и ничтожной религиозно-мистической эротикой в Госбезопасность посыпались многочисленные донесения — обычная практика органов Госбезопасности об откликах интеллигенции на очередное проявление заботы партии и правительства о духовном развитии советского общества.

В одном из агентурных сообщений говорится: «Объект, Ахматова, перенесла Постановление тяжело. Она долго болела: невроз, сердце, аритмия, фурункулез. Но внешне держалась бодро. Рассказывает, что неизвестные присылают ей цветы и фрукты. Никто от нее не отвернулся. Никто ее не предал». «Прибавилось только славы, — заметила она. — Славы мученика. Всеобщее сочувствие. Жалость. Симпатии. Читают даже те, кто имени моего не слышал раньше. Люди отворачиваются скорее даже от благосостояния своего ближнего, чем от беды. К забвению и снижению интереса общества к человеку ведут не боль его, не унижения и не страдания, а, наоборот, его материальное процветание», — считает Ахматова. «Мне надо было подарить дачу, собственную машину, сделать паек, но тайно запретить редакции меня печатать, и, я ручаюсь, что правительство уже через год имело бы желаемые результаты. Все бы говорили: «Вот видите: зажралась, задрала нос. Куда ей теперь писать? Какой она поэт? Просто обласканная бабенка. Тогда бы и стихи мои перестали читать, и окатили бы меня до смерти и после нее — презрением и забвением».

Узнав, что Зошенко после Постановления пытался отравиться, Ахматова сказала: *Бедные, они же ничего не знают, или забыли, ведь все это уже было, начиная с 1924 года. Для Зошенко это удар, а для меня — только повторение когда-то выслушанных проклятий и нравоучений».*

В другой развернутой характеристике Ахматовой, переданной в МГБ, секретный осведомитель сообщал: «У Ани нет никакой привязанности к деньгам и вещам. Подарки принимает как должное и тут же передает их другим. Легко, без надрыва,

переходит на иждивение друзей и близких». Как-то она заметила: «Даже если бы Европа была прежней (имеется в виду — довоенной), я все равно бы никуда не поехала. Дома лучше, пусть даже уют по субботам». (Видимо, она намекает на негласные обыски, которые действительно периодически проводились у нее ленинградскими чекистами в квартире). И дальше она продолжает: «Люди, связанные с искусством слова, должны жить в стране этого живого слова». В другой раз она сказала: «Поэзии в Америке никогда не было, а в Англии она кончилась после Байрона. Поэзия была и есть только в России. Вот почему я осталась в России».

«Вообще же Аня, — продолжает осведомитель, — редкий тип совершенного эгоцентрика, — почти ничто, не касающееся ее, ее не интересует. И говорит она, собственно, только о себе. Она блестящий собеседник, в настроении — интересна, несмотря на гипертрофированный эгоцентризм, в бурном состоянии она отвратительна, и нужно иметь большую волю и терпение, чтобы вынести ее капризы, дамскую нелогичность, стремление уколоть и оскорбить. Ахматова уверена, что у нее в комнате спрятаны микрофоны, она даже проверяла спицей дырки в потолке». «Зачем это, — говорила она, — все так у нас выдрессированы, что никому в нашем кругу не придет в голову говорить крамольные речи. Это — безусловный рефлекс. Я ничего такого не скажу ни в бреду, ни на ложе смерти». (С 1945 года в квартире Анны действительно, как я уже говорил, была оборудована техника подслушивания).

Последнее сообщение об Ахматовой датировано 23 ноября 1958 года, уже после официального закрытия «Дела». Оно закрыто было в 1956 году по указанию тогдашнего начальника Управления КГБ, генерала Миронова, который впоследствии был заведующим отделом административных органов ЦК КПСС, а позднее погиб в авиакатастрофе в Югославии. В этом последнем сообщении 1958 года говорится: «Объект большую часть времени проводит в Москве, живет у Ардовых, летом предпочитает дачу в Комарово, построенную для нее Литфондом, в Ленинграде она чаще всего бывает у приемной дочери — Иры Пуниной-Рубинштейн. Очень любит внучку — Аню Каминскую. Физически заметно сдала: нездоровая полнота, большой живот, отечность рук и ног, повторяющиеся сердечные приступы. После инфаркта, перенесенного в Москве, без валидола она обходиться не может, а телефона на даче нет. Вместе с тем, настроение у нее достаточно бодрое, творческое. Хотела писать книгу о Париже 1910 года, когда она встречалась там с Модильяни, упоминала о желании издать автобиографический очерк воспоминаний. Из самых неприятных и обидных слов, которые она запомнила и вспоминает о них с горечью — это из Постановления ЦК

партии — слова, приписываемые Жданову: «То ли монахиня, то ли блудница». Вот это ее очень коробит. О правительстве Хрущева отзывается положительно, считая его милосердным и справедливым. Часто ходит на кладбище, расположенное в полутора километрах от дачи. Такое впечатление, что подыскивает место для себя».

На этом «Дело» заканчивается.

Ни в одном документе трехтомного «Дела» не содержится сведений, проливающих какой-либо свет на главное — ради чего оно заводилось — причастность Ахматовой к шпионажу в пользу Англии. Об этом упомянуто лишь однажды, в случае с Первым секретарем Великобритании, Белином (об этом случае упоминалось выше). Эта тема просто выпала из заданий КГБ (тогда — МГБ), донесений агентуры. Да и разве ради истины заводились дела в те времена? Литераторы, как, впрочем, и вся наша интеллигенция, рассматривались партийно-полицейской властью как потенциальные смутьяны, духовные оппозиционеры, способные в любой момент бросить вызов режиму. Их нужно было постоянно держать в узде, не допуская никаких отклонений от заданной партией линии, а если это случалось — нещадно карать, публично шельмовать, или милосердием тиранов, как говорил Моруа, изгонять из собственной страны. Анне Ахматовой повезло, она умерла на родной земле. Гордая, непокорная, величественная, Ахматова оставила нетленный след в нашем и грядущих поколениях. И вот, в разрухе, в смуте, в условиях гражданского и военного противостояния, в том, что во многом сходно с сегодняшней нашей Россией, как серебряный колокольчик надежды, звучали выстраданные ахматовские строки:

*Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано —
Отчего же нам стало светло?
И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам,
Никому, никому не известное,
Но от века желанное нам.*

Дай Бог, чтобы эти слова сбылись и желанное пришло.

Дёрдь ДЯЛОШ

Репрессии и терпимость: литературно-историческая параллель

Проводя параллель между литературно-политическим развитием в Советском Союзе и ГДР, я хочу уже самой постановкой темы указать на то, что речь идет о чрезвычайно отличающихся друг от друга феноменах. Между тем отношение к сталинизму и постсталинизму в общественном сознании часто таково, будто угнетение во всех странах «реального социализма» было одинаковым, словно и не было различий ни между 1953 и 1978 годами, ни между странами — Советским Союзом, ГДР, Венгрией и т.д. Действительно, после 1945 года в Восточной Европе была предпринята попытка воплотить в жизнь московскую модель во всех этих странах с самыми разными традициями. В долговременной перспективе именно это и стало одной из причин краха всей системы.

На поверхностный взгляд, в том, что касается репрессии и терпимости в отношении литературы, можно, разумеется, обнаружить немало параллелей между Советским Союзом и ГДР. Так, вслед за московской «оттепелью» после смерти Сталина последовало аналогичным образом относительное смягчение цензуры и в восточногерманском государстве. А после процесса над Синявским и Даниэлем и в Восточном Берлине произошло ужесточение контроля за литературой со стороны цензуры и госбезопасности. Вслед за высылкой Солженицына в 1974 году была произведена экспатриация Вольфа Бирмана. Письма возмущенных читателей в газете «Нойес Дойчланд», в которых бичевались попавшие в немилость писатели, поразительным образом напоминали письма, публиковавшиеся в «Правде». Риторика Курта Хагера, официального идеолога так называемого «государства рабочих и крестьян», кажется буквальной копией образа мыслей и словарного запаса Михаила Сулова.

И все-таки мы не можем подходить к этой теме с позиции «в темноте все кошки серы». При более внимательном рассмотрении за всеми сходствами выступают значительные различия. И я хотел бы кратко проиллюстрировать их на нескольких примерах.

1-й пример: «оттепель» и волна репрессий после 1956 года

Террор после подавления восстания в Венгрии косвенно сказался на обращении с литературой во всех других социалистических странах. Шок от будапештского Октября побудил советское пар-

тийное руководство выступить застрельщиком. И когда писателю Борису Пастернаку за его роман «Доктор Живаго» бала присуждена Нобелевская премия по литературе, тогдашний шеф КГБ Семичастный заявил, что Советское правительство не будет иметь ничего против, если Пастернак покинет страну.

Подвергшийся такого рода унижению и угрозе писатель отказался от этой литературной награды и в своем письме на имя руководителя партии Хрущева умолял: того не высылать его из страны. *«Выезд за пределы моей Родины, — писал Пастернак, — для меня равносителен смерти...»* Ему было даровано право умереть два года спустя у себя на родине.

С одной стороны, причиной мягкого исхода «дела Пастернака» были государственные интересы: не хотелось, чтобы успехи дипломатии на высшем уровне заглушались голосами протеста на Западе. С другой стороны, сдерживающим фактором была еще свежая память о преступлениях Сталина.

Такого рода сдерживающих моментов не было у руководства ГДР, когда оно — главным образом из страха перед венгерской бациллой — арестовывало и многих представителей интеллигенции. Приговоры к заключению на длительные сроки, вынесенные Эриху Лёсту, Вольфгангу Харигу и другим, свидетельствовали, что в то время руководство ГДР еще не могло в общем отважиться на более мягкое решение литературно-политических конфликтов, как это продемонстрировали в той шекотливой ситуации с Пастернаком их советские товарищи. Причина такого поведения была очевидна: близость ФРГ и открытая еще в то время граница в Берлине обуславливали куда более непосредственную конфронтацию с западным миром, нежели это имело место в изолированном тогда Советском Союзе. А кроме того, лишение гражданства отнюдь не было бы чревато для авторов ГДР такой судьбой, какая ожидала их русских коллег. В литературном плане в другом немецком государстве они эмигрантами не были бы.

2-й пример: восприятие Кафки

Именем, наиболее часто всплывавшим в дискуссиях по вопросам культуры в постсталинскую эпоху, было имя Франца Кафки. Конечно, для функционеров от культуры в государствах восточного блока Кафка так и оставался бы всего лишь одним из многих «буржуазно-декадентских» авторов, не напиши он роман под названием «Процесс».

Первое упоминание Франца Кафки в советском энциклопедическом издании относится к 1959 году. «Малая Советская Энциклопедия» называет его «немецким писателем». В единственном содержащемся тут замечании оценочного характера выражена критика и определенная неуверенность: *«Творчество К. является*

причудливым сочетанием крайнего субъективизма и отдельных реалистических моментов». Роман же «Процесс» там не упоминается вовсе.

Несколько более пространной была статья о Кафке в выпущенной в 1962 году в Лейпциге энциклопедии «Майерс нойес лексикон». Из нее читатель даже узнает, что «немецкоязычный писатель» Кафка был «сыном фабриканта». А в оценке его творчества отчетливо видна явная амбивалентность: *«С позиции мелкого буржуа-индивидуалиста К. воспринимал повседневную капиталистическую действительность как кошмар».*

Добрых десять лет спустя, когда мало-помалу произведения Кафки нашли распространение и в социалистических странах, новое издание «Майерс лексикона» свидетельствовало о еще большем замешательстве: *«Безысходность в обрисовке героев, прикованных к мистическому, не подверженному переменам общественному бытию, была впоследствии использована в своих целях антигуманными идеологиями (нигилизмом, экзистенциализмом)».*

В вышедшем в том же 1973 году томе «Большой Советской Энциклопедии» приведена даже официальная точка зрения на Кафку: *«Советское литературоведение видит в творчестве Кафки художественно яркое выражение кризиса буржуазного общества, ... из которого, однако, писатель не видел выхода».*

За этой выдержанной в духе марксистского догматизма фразеологией интерпретаторов Кафки в ГДР и СССР скрывается всё та же боязнь прикоснуться к связанной с именем Кафки антитоталитарной символике. При этом цензуре ГДР приходилось в случае с Кафкой преодолевать более высокий барьер, нежели советской. Ведь автор «Процесса» был для нее не просто одним из писателей, а органичной частью немецкой литературной традиции.

Страх же тех, кто делал литературную погоду в Советском Союзе, вызывался прежде всего «Процессом». Правда, их страхи угасли, когда советским идеологам пришлось столкнуться с радикальным и уже не символическим описанием сталинского террора — «Архипелагом ГУЛАГ» Солженицына.

Критические настроенная русская интеллигенция нередко называла в частных разговорах царившие в стране условия «кафкианскими», а в конце 70-х годов остроумно переиначила строку из одной революционной песни таким образом: *«Мы рождены, чтоб Кафку сделать белью...»*

3-й пример: высылка из страны как репрессивное средство по отношению к литературе

Высылка из страны десятков известных советских писателей, в том

числе Солженицына, Галича и Аксенова, в 70-х годах прямо-таки рабски копировалась восточно-германской политикой. За Вольфом Бирманом в путь-дорогу отправились Сара Кирш, Томас Браш, Райнер Кунце и другие. Эти меры имели целью не устранить, а хотя бы локализовать идеологические конфликты, не поддававшиеся уже решению «классическими» методами террора; они как бы свидетельствовали об оборонительном характере действий идеологического аппарата. Но если советская практика высылки из страны принесла хотя бы в кратковременном плане какой-то тактический успех, то ее копирование в ГДР с самого начала явно оказалось палкой о двух концах.

Русские авторы, оказавшись в эмиграции, неизбежно во многом утрачивали возможность своего влияния у себя на родине, их изгнанные из ГДР коллеги могли оказывать регулярное воздействие на критические настроения в своей стране. Тот факт, что восточно-германские власти рассматривали ФРГ как своего рода почетную Сибирь для диссидентов, приводил к еще большему, хотя и скрытому конфликту в обществе: интеллектуальному меньшинству в качестве наказания насильно предоставлялось как раз то право, в котором отказывали подавляющему большинству населения — право свободно выезжать за рубеж.

Практика высылки из страны в 70-х годах привела в Советском Союзе к ужесточению культурно-политического климата, в ГДР же, напротив, — к медленному, но заметному смягчению цензуры и к ограничениям на заграничные поездки для тех, кто оставался в стране. Это, опять же, было тесно связано со специфическими отношениями обоих германских государств.

4-й пример: крах репрессивной системы

Обретение свободы для литературы поставило писателей бывшего Советского Союза и бывшей ГДР перед одной и той же дилеммой. С одной стороны, рухнула цензура, а с другой — расплзлась социальная ткань литературы. И вновь обретенная свобода идет у писателей таким образом, рука об руку с рауущим чувством предоставленности самим себе. И в обоих государствах-преемниках, в России и в Германии, это привело к двойственному отношению литераторов к молодой демократии.

Но есть различия и здесь. Если постсоветская литература занята поиском связи с русской традицией, то для писателей бывшей ГДР проблема заключается в перспективе обретения места в литературных структурах ФРГ. Протест против трудностей, связанных с необходимостью перестраиваться, выражается у части русских писателей в их повороте к имперскому сознанию, в тоске по сильной власти и своей столь важной когда-то роли. В

ГДР же у многих критически настроенных литераторов усиливается ностальгия по здоровому миру устроенности защищаемой властью, как это было в позднюю пору эры Хонеккера.

Продолжавшееся десятилетиями угнетение литературы в обеих странах как эхо отзывается тоской по миражам, исцелить которую можно, только полностью рассчитавшись с прошлым.

**Арсений РОГИНСКИЙ,
Никита ОХОТИН**
(докладывает А. Рогинский)

**Об архивных источниках по теме
«КГБ и литература»**

Уважаемые коллеги!

Вчерашний день и вечернее обсуждение убедили меня в том, что мы, то есть русские и немецкие коллеги, найдемся в совершенно неравном положении. Немецкие коллеги по сравнению с нами — профессора. В течение уже двух лет в Германии многие люди свободно (или не очень свободно) изучают материалы «штази», и по вчерашнему докладу было очевидно, что основы обсуждаемых проблем им хорошо известны. В то время как здесь работать с материалами Государственной безопасности имеют возможность только единицы — буквально несколько человек, которые входят в какие-то комиссии достаточно высокого уровня. У вас уже несколько лет назад опубликованы детальные сведения о структуре «штази» — у нас они не опубликованы до сих пор, мы о структуре (даже о структуре!) КГБ — какие там были Управления, какие отделы, на какие отделения делились эти отделы — знаем весьма немного. Даже специалисты, по сути дела, мало что знают достоверно, они должны довольствоваться сведениями из мемуаров, слухами и другими косвенными источниками. Неизвестны и основополагающие акты, инструкции, по которым работал Комитет Госбезопасности.

А в то же время в Германии, по-видимому, происходит перенос немецкой ситуации на нашу. Мне вчера задавали вопрос, какие материалы я могу получить, если завтра пойду в КГБ. Это крайне наивный вопрос, потому что никаких материалов я не получу, так же точно, как не получит и любой человек в России. Поэтому мне сегодня кажется важным начать с короткого описания сегодняшней ситуации в отношении архивов КГБ, что там находится и кто может получить туда доступ. Я постараюсь сказать коротко, прежде чем перейду к проблеме нашего семинара — к проблеме литературы и литераторов.

Вчера в выступлении Виталия Шенталинского были названы основные виды документов — я их еще раз перечислю. Во-первых, большой массив уголовных дел, то есть следственные дела на людей, которые были осуждены. Дела эти хранятся, их не уничтожают. К этому массиву имеют доступ только родственники

осужденных. Ни один из исследователей не может просто так прийти и прочесть те уголовные дела, о которых нам рассказывал Виталий Шенталинский — дело Бабеля, дело Мандельштама и т.д. — их может читать, пожалуй, один человек на свете — Виталий Шенталинский. Потому что его уполномочил на это Союз писателей СССР, а Крючков на это согласился в свое время, несколько лет назад. А вы не можете, и никто здесь не может — это очень важно.

Сейчас разрабатывается регламент доступа к этим делам. По поводу них уже существует соглашение о передаче их из КГБ государству. Здесь присутствует несколько разработчиков этого регламента. Основная его концепция приблизительно такова: доступ к этим делам будет максимальный, ничем практически не ограниченный, однако использование, т.е. публикация материалов из этих дел будет производиться в значительной степени по согласию либо бывших жертв репрессий, либо их прямых родственников. Концепция принята предварительно, но должна пройти еще много стадий до утверждения.

Разумеется, должны быть изучены все дела всех арестованных писателей, равно как все дела друзей этих писателей, потому что там могут найтись рукописи, заступнические письма, показания — все это крайне важно для истории литературы, для биографий этих людей.

Следующий тип документов — то, что традиционно называется у вас словом «досье»; в нашей терминологии это называется делом оперативного учета на граждан, т.е. дела оперативной проверки, дела оперативной разработки, дела оперативного наблюдения — это разные виды оперативных дел. О деле оперативной разработки против Ахматовой вчера рассказывал генерал Калугин. Понятен состав этих дел — эти дела бесценны (конечно, с точки зрения хранящегося в них материала). Понятно, что рукописи, изъятые на тайном, негласном обыске, находятся там, в этих делах. Перехваченная переписка — она находится там, в этих делах. Видеозаписи, магнитофонные записи разговоров писателей — они находятся там. О сохранности этих дел — чуть ниже.

Следующее — дела агентуры. Помимо того, что были писатели-агенты, конечно же, был целый ряд агентов, работающих против писателей, и вы, наверное, знаете, что дела агентуры делятся на две группы (т.е. немцы знают, а русские нет). Существуют личные и рабочие дела агентов. В рабочем деле агента закреплены все подлинники его донесений. Это значит, что донесения о писателях, за которыми велась слежка, сосредоточены в делах агентуры. И если даже уничтожено оперативное дело самого писателя, то в деле агента будет содержаться эта информация.

Этих две группы дел были уничтожены на 80 или 90%. В КГБ

было несколько волн по уничтожению документов. Первая волна была, когда к власти пришел Берия, в 1939 году, и там было огромное количество бумаг, которые не знали как квалифицировать, куда положить. Это материалы вокруг Большого Террора середины 30-х годов. Было приказано расчистить помещения, ненужное выкинуть, просмотреть внимательно архивы — тогда было уничтожено гигантское количество документов. Второе серьезное уничтожение произошло в годы войны, и скорее было вызвано естественными причинами — боязнью наступления немцев и захвата архивов. Третье серьезное уничтожение было предпринято уже Хрущевым — это было тотальное уничтожение как раз дел агентуры и дел оперативной разработки — оно шло под флагом того, что теперь, когда ясно, что эти люди ни в чем не виноваты, что органы безопасности занимались не тем, чем надо, надо все это уничтожить. На местах, в органах госбезопасности, уничтожали бумаги не только по этой причине, но и для того, чтобы обелить себя. В 54—55—56-м годах они очень боялись большой новой чистки, того, что их начнут привлекать к суду. Этого не случилось, но огромное количество дел было уничтожено.

И, наконец, одно из самых серьезных уничтожений началось в конце 89-го года — это уничтожение 90—91-го годов. Начиная с I съезда народных депутатов, Крючкову по-видимому стало ясно, что может что-то произойти, что положение органов госбезопасности не такое прочное, как раньше, и были отданы соответствующие указания. Сначала, в конце 89-го года, началось тотальное уничтожение дел оперативного учета против лиц, которых разрабатывали как «антисоветчиков». Вам понятен термин «окраска». Например, человека разрабатывают как «буржуазного националиста», или как «церковника-сектанта», или по линии «антисоветская агитация и пропаганда», или «шпионаж». Дело Ахматовой хранилось так долго в значительной степени потому, что там была «окраска» — как нам вчера сказал генерал Калугин — «шпионаж». Такие дела держатся очень долго и считаются важными. А вот дела на людей, которых разрабатывали как «антисоветчиков», в 90—91-м году активно уничтожались.

Мне в Ленинграде довелось смотреть акты уничтожения 91-го года и журналы регистрации уничтожения. Действительно, огромное количество «досье», в том числе и против литераторов, уничтожено. А по стране, я думаю, были уничтожены сотни и сотни тысяч дел.

В 90-м году, осенью, началось тотальное уничтожение дел агентуры. Их тоже практически почти не осталось. Я, конечно, не убежден в этом на 100%. И мне могут сказать: «То, что ты видел акты на уничтожение, — это ерунда, потому что в КГБ злодеи и они обманут. На самом деле не уничтожены». Я позволяю себе

выразить сомнение и сказать, что злодеи они или не злодеи — это государственные чиновники, действующие по приказу. Приказ Крючкова был довольно резкий и четкий — уничтожить все дела агентуры, кроме тех, которые имеют историческое значение или очень актуальны. Я уверен, что больше 50 процентов дел было уничтожено.

Таким образом, мы лишены огромного количества источников. Представьте себе, было уничтожено «досье» Сахарова. В этом потоке уничтожались дела на очень многих писателей (можно перечислить фамилии). Уничтожались не только рукописи, но и — повторяю — записи их разговоров, которые, может быть, не сейчас, но через десятки лет были бы важнейшим источником для изучения жизни и творчества этих писателей. Для истории литературы это непоправимый урон, трагедия.

И, наконец, четвертый тип дел, где находились сведения о литературе, — то, что называется на архивном языке «дела секретного делопроизводства». Это переписка между различными структурами Госбезопасности. Между отделами и управлениями, между областными управлениями и центром, между КГБ и другими министерствами, между КГБ и ЦК КПСС. Это планы и отчеты отделов и управлений, разного рода сводки. Дела эти очень важны, на них-то я как раз и хотел бы остановиться. Казалось бы, они почти не касаются литературы или касаются только взгляда КГБ на литературу. Взгляд этот более-мнее очевиден, и во вчерашних докладах об этом много говорилось.

Я бы хотел подчеркнуть, что эти дела могут быть основой для реконструкции других, уничтоженных дел, вот это очень важно.

Несколько примеров. Какое-нибудь областное управление сообщает в центральный аппарат о происходящих у них событиях и о тех людях, за которыми они сейчас ведут наблюдение. Или центральный аппарат требует и получает эту информацию. И в сжатом виде, так сказать, в «дайджестах», сохранено очень многое из той информации, которая уничтожена.

Простейший пример: вчера я дополнял, как вы слышали, доклад генерала Калугина кое-какими сведениями о деле на Анну Андреевну Ахматову. Они были взяты из доклада Ленинградского Управления в Центр, из доклада 40-х годов, где это многостраничное дело изложено в самых основных чертах на двух-трех страницах, с цитатами.

Дела секретного делопроизводства, эта переписка дают нам возможность составить список людей, которые были объектами внимания КГБ (конечно, неполный), список методов, которые использовались против них, список предъявленных обвинений, которые предъявлялись, дают массу информации.

Возникает очень важный вопрос — вопрос языка. Нам надо

научиться читать документы КГБ. На сегодняшний день я постоянно сталкиваюсь в России с полным непониманием характера этих документов. Они читаются буквально и очень всерьез. Между тем, это особый, как у нас в России говорят, «птичий язык» гебешный сленг, который подразумевает не то, что написано. Отчеты и сообщения КГБ — особый жанр литературы. Половины наших скандалов, которые возникли на почве прочтения этих документов, не было бы, если бы люди понимали, что написанное означает совсем другое. Или, по крайней мере, не совсем то. Вот я читаю в каком-то отчете, что некая женщина, благодаря огромным усилиям, которые предпринял Комитет государственной безопасности, склонена к эмиграции в Израиль. Я прекрасно знаю эту женщину — она пять лет писала заявления «Выпустите меня в Израиль». И ее не выпускали, ей не разрешали по каким-то причинам. Потом ее выпустили. В отчете это представлено, как победная реляция. И можно подумать, что она под страшным давлением уехала. Но она этого очень хотела сама.

Или документы о многих диссидентах, в том числе о писателях-диссидентах: «В результате беседы, проведенной с таким-то (и дальше идет фамилия здесь находящихся, почти всех), такой-то заявил, что он в дальнейшем не намерен (или — отказывается) проводить враждебную деятельность». Я обратился к некоторым друзьям и спросил: «А что это были за беседы?» Беседы были такие: человек сидит в лагере или в ссылке, его вызывает приехавший из Москвы сотрудник КГБ и говорит: «Вы чем будете заниматься после освобождения? — Я буду заниматься своей наукой — математикой. — Как, вы серьезно хотите заниматься?.. — Да, это моя любимая наука.» Все. Он даже не пишет бумаги, его даже не спрашивают про убеждения. Но в результате возникает подобная отчетная запись. Такова система нашей советской отчетности.

Вернемся к проблеме доступа к документам КГБ. Не так-то она проста и упирается отнюдь не в позицию КГБ. Противниками доступа к уголовным делам часто являются, например, сами жертвы политических репрессий, их родственники. Это серьезный — и моральный, и исторический — вопрос. Люди не хотят, чтобы кто-то читал, какие показания они когда-то давали на следствии. И даже те, кто давал очень хорошие показания и отвечает за каждое свое слово и сейчас, относятся без большого энтузиазма к тому, чтобы посторонние читали их дела. Приходилось слышать от людей 30-х годов, что придет некий журналист, откроет мое дело... и он же не знает, что перед этим меня били, об этом в деле не написано, а написано только, что я на первом же вопросе дал показания против своих друзей. А того, что перед этим меня два месяца били, — нет нигде, это установить невозможно.

Или, допустим, человек не давал никаких показаний против кого-то, но был вполне честным сталинистом или коммунистом и писал из тюрьмы письмо Сталину о том, как он предан коммунистической идее. И он говорит: «Ведь я сейчас совсем другой человек. И это будет использовано против меня. Я знаю, что журналисты используют все против меня».

Проблема уголовных дел — это проблема людей, которые были главными героями, главными персонажами этих дел. Но это проблема решаемая. Гораздо сложнее вопрос о доступе к внутренней переписке КГБ. Тем более, когда речь идет о людях, которые сейчас активно действуют. Ведь подробные отчеты о встрече с этим диссидентом в лагере уничтожены. Остались три строчки в общем отчете высокого уровня. Они дают совершенно ложное представление о явлении. А к каким некорректным выводам может привести сопоставление кличек агентов в этих отчетах!

И все же за открытие — хотя бы частичное! — этих документов следует бороться. И мы будем стараться это делать, хотя у нас есть одно препятствие, о котором я хочу сказать. Это не нравственные принципы, о которых говорил генерал Калугин, а закон. Существует закон об оперативно-розыскной деятельности, принятый год назад, там сказано: «все сведения о лицах, сотрудничающих или СОТРУДНИЧАВШИХ (для нас это очень важно — А.Р.) с органами госбезопасности на негласной основе, являются государственной тайной». У нас еще нет закона о государственной тайне, но уже есть одна категория информации, которая является государственной тайной. Мы можем как угодно относиться к Верховному Совету или к Президенту, но это Закон, он сегодня существует. И когда мы читаем материалы этого секретного делопроизводства, все время возникает вопрос о людях, там упоминающихся. Там нет фамилий агентуры, там есть клички агентуры. Но сличая клички и обстоятельства, легко реконструировать имена. Получается нарушение закона? Надо искать выход из этой ситуации.

Несколько тезисов о литературе. Тезис первый. Виталий Шеналинский говорил, что архивы КГБ — свидетельство борьбы литературы и власти. Я думаю, что архивы КГБ — это в наименьшей, может быть, даже в большей степени свидетельство сотрудничества литературы и власти. В любом случае, документы КГБ — безусловно важный источник понимания взаимоотношений литературы и власти.

Тезис второй. Мы все время говорим о КГБ. Почему мы упускаем из вида партию? Нужно бы на нашем семинаре иметь три ориентира: литература, КПСС, КГБ. За кем КГБ осуществляет надзор? За литературой или за литераторами? Конечно, за литераторами. Одно маленькое наблюдение (для историков оно, может

быть, будет любопытно): писатели в 30-е годы действительно являлись объектом пристального интереса КГБ, на них очень много материалов. В дальнейшем, после войны, особенно в постсталинскую эпоху, место писателей в сознании власти уменьшается, потому что литературная жизнь стала в большей степени регулироваться через партийные организации или через писательские организации, управляемые партией и цензурой, Главлитом, целиком зависящих от партийных структур. Есть ли писатель для КГБ что-то специфическое? Отвечаю: нет, он ничем в принципе не отличается от слесаря. Не было никогда специального отдела (отдела! — не отделения, которое суть более мягкая структурная единица), занимающаяся только писателями. Если вы писатель и у вас «враждебные религиозные убеждения», то вы проходите по тому отделу, который занимается религией, т.е. рядом с бабушкой в деревне, сектанткой, которая говорит что-то против правительства. Если вы еврейский националист, то вами занимаются по еврейской линии. Если вы писатель, который открыто выступал против власти, вступает или создает какие-то группы, поддерживает связь с иностранцами, то вами занимается отдел по диссидентам. И здесь будут рядом любой диссидент и писатели Солженицын, Войнович и т.д. Не было «писательской» специфики.

Был ли механизм прямого влияния КГБ на литературу? Показываю самый простой механизм влияния собственно на художественный текст. Писатель приносит рукопись в журнал. Она попадает в руки редактору. Но рано или поздно рукопись попадает в руки человеку, который является или агентом, или «доверенным лицом» в этом журнале. Он читает эту рукопись и понимает, что здесь что-то такое «антисоветское». У него две возможности: или он советуется с Центральным Комитетом (тогда он не должен быть агентом, это может быть просто главный редактор), или он отдает это в КГБ. В КГБ это отдают на рецензию, или звонят в ЦК, и в ЦК отдают на рецензию. Приходит рецензия. В рецензии более или менее ясно сказано, что делать: или надо резко отклонить это произведение, или можно работать и исправить — это неверно, то неверно, там неправильно (кстати, почти всегда надо исправить, а не отклонить). Дальше тем же путем, через КГБ, через доверенное лицо это все возвращается в редакцию, и какой-то маленький человек, рядовой редактор в этом журнале (вовсе не доверенное лицо, но получающий указания от заместителя главного редактора или заведующего отделом) начинает работать с писателем и говорит: «Вот это надо исправить, это надо исправить и т.д.» Редактор — честный человек, он вовсе не думает, что выполняет поручение КГБ, что над ним большая надстройка. В результате в произведении меняются акценты, и оно рано или поздно появляется в печати. Или не появляется.

Напомню известную цитату: «Поэт в России больше, чем поэт». Для КГБ это не так. Поэт больше, чем поэт в той степени, в какой он в большей степени связан с «враждебными элементами», высказывает «антисоветские настроения» и т.д. Гораздо более важное значение для КГБ имели люди, работающие на телевидении, радио. Гораздо более тщательный контроль осуществлялся над театром, к нему действительно относились очень внимательно, так как это место непосредственного контакта с зрителем. Много материалов, например, встречалось о том, как современный театр неверно интерпретирует то-то и то-то, ну, скажем, классику XVIII и XIX веков. И оказывалось «нужное» давление на режиссера. Он даже не понимает, кто и как оказывает на него давление, как и писатель часто не понимает, потому что с ним не всегда работают через редакцию, с ним часто работают через его знакомых, которые сотрудничают с КГБ. Не так много этих сотрудничающих людей, не надо преувеличивать. И не надо думать, что в кругах писателей их больший процент, чем в каком-то другом месте. Но все-таки достаточно, чтобы в сумме контролировать ситуацию.

Итак, главные проблемы, которые я хотел бы наметить.

Первое. Ввести в разработку нашей темы КПСС, потому что основной контроль над литературой осуществляла, конечно, партия.

Второе — ввести в наше понимание этой темы проблему языка, понять, что мы должны дешифровать все документы КГБ, и в этом смысле относиться к ним с крайней осторожностью.

И третье — снять ореол романтики, который писатели сами вокруг себя выстроили, полагая, что они-то и есть главный объект внимания и изучения со стороны КГБ. Надо понять, что литераторы — одна из очень многих категорий, и далеко не самая основная, из тех, которыми занималась госбезопасность. Да простят меня писатели.

В заключение хочу поблагодарить фактического соавтора нашего с Н. Охотиным доклада, присутствующего здесь Никиту Васильевича Петрова.

Александр ДАНИЭЛЬ

История самиздата

Тема моего выступления заставляет меня скорее ставить вопросы, нежели пытаться отвечать на них. Дело в том, что само существование самиздата порождало и продолжает порождать мифы. Каждая эпоха и каждая общественная позиция порождали свой собственный миф о самиздате. Официозный миф старого режима хорошо известен: самиздат — это синоним идейно вредной литературы, засылаемой к нам из-за рубежа или инспирируемой внутри страны спецслужбами «противника» и нелегально распространяемой врагами с целью подрыва советского строя.

Насколько официальная пропаганда преуспела во внедрении этого мифа в общественное сознание — вопрос открытый. Среди части интеллигентной публики имел хождение иной миф. Он сводится к тому, что самиздатская деятельность была ненужной бравадой одиночек, не обладающих достаточной настойчивостью, терпением и талантом, чтобы пробиться в легальную печать, единственно значимую для просвещения народа, для культуры и истории России.

Третий миф — это миф о героической и бескомпромиссной истине, политической, художественной, научной, которая заведомо не живет в подцензурном пространстве. Это мировоззрение априори полагает, что официальная культура вся, по определению, не может не быть конформистской и рептильной, и что настоящие культурные события совершаются лишь за ее пределами.

Надо ли уточнять, что слово «миф» употребляется мною не в бытовом значении этого слова (т.е., неправда, вранье), а в культурологическом — миф как целостная концепция, претендующая на универсальное объяснение какого-то явления. Не скрою, впрочем, что к любым целостным концепциям лично я отношусь с некоторой опаской.

Сейчас на наших глазах формируется новая мифология, составной частью которой является новый, четвертый, миф о самиздате. Коротко суть этого мифа можно изложить так: «Самиздат — оружие, с помощью которого инакомыслие сокрушило режим». Легко понять, что в своих основных чертах эта концепция должна совпасть — и, действительно, совпадает — с первым, гэбистским, мифом об «идейно вредной» литературе. С точностью, конечно, до перемены знаков.

Какова, в этих условиях сплошной мифологизации, задача добросовестного исследователя? Прежде всего, ему надо разобраться во внутренней структуре явления и понять тот историко-культурный контекст, в котором оно существует. А для начала договориться о значении употребляемых терминов.

* * *

Астрофизик Кронид Любарский, осужденный в 1972 г. за распространение самиздата, сказал в своем последнем слове на суде примерно следующее (цитирую не дословно): «В последние годы в словари многих иностранных языков вошло русское слово «самиздат». Это достойно сожаления, ибо предыдущим русским словом, вошедшим в иностранные языки, было слово «спутник». В этом высказывании замечательно не столько негативное отношение к явлению (которое, по Любарскому, есть не что иное, как индикатор несвободы в стране), сколько придание ему серьезного, «государственного», «идейного» значения. Такое отношение к самиздату стало типичным к 1970-м гг. (кстати, именно тогда слово «Самиздат» стали писать с большой буквы), но не раньше. Между тем термин появился задолго до того — еще в середине 1940-х. Его автором, по-видимому, был московский поэт Николай Глазков, чьи стихи и прозаические миниатюры полу-абсурдистского толка были хорошо известны в околосредовой среде, но почти не печатались при его жизни. Глазков придумал такую забавную литературную игру: составлял небольшие машинописные сборники своих стихов и прозы, шивал их в брошюры форматом в поллиста и дарил друзьям. А на титуле ставил им самим придуманное слово «самсебяздат». Собственно, нет ничего нового в том, что автор дарит друзьям копии своих произведений; игровой момент был именно в оформлении, в пародировании официального книгоиздания, в этом самом словечке «самсебяздат».

Совершенно аналогичная литературная игра описана в рассказе Абрама Терца «Графоманы» — там один из героев «издает» свои стихи в единственном экземпляре и на последней странице «прорисовывает» выходные данные: «*Редактор С.Галкин. Художник-оформитель С.Галкин. Технический редактор С.Галкин. Тираж 1 экземпляр*». Рассказ написан на рубеже 1960-х, и оба автора — Абрам Терц и его персонаж — относятся к своей «самиздатской деятельности» гораздо серьезнее, чем Н.Глазков — механизм самостоятельного размножения рукописи как реальной альтернативы Госиздату уже вовсю работал. Однако и у Терца еще сохраняется ироническое, хотя и явно сочувственное, отношение к этой деятельности. (Сам Терц предпочел, как известно, иную альтернативу Госиздату).

Тогда же, или несколькими годами ранее, термин был подхва-

чен литературной молодежью, которая усилила его «игровое» звучание, редуцировав его до «самиздат»: с одной стороны, уже прямое передразнивание «государственного» наименования — Госиздат, с другой — снижающая аллюзия на известную торговую марку грузинских вин («Самтрест»). Впрочем, во второй половине пятидесятых сохранялся еще и старый термин: мне приходилось видеть ранние (1957—1959) машинописные сборники Н.Горбаневской, тогда — поэта чертковского круга, помеченные как «самсеиздат».

Разумеется, я говорю об истории термина, а не о явлении как таковом: неподцензурная литература распространяется в списках в течение столетий — по крайней мере столько же, сколько существует сама цензура. Однако, выбор термина определил новую эпоху в истории неподцензурной литературы: в сопоставлении Самиздата и Госиздата таилась дерзкая и дразнящая идея, охватившая в 1950-е гг. уже значительную часть нового поколения советской интеллигенции — идея противостояния личности и государства, идея независимости. И карнавальное, по Бахтину, звучание слова — не случайность. Оно обеспечивало необходимый в данном контексте оттенок самоиронии, неперемное условие свободомыслия в тоталитарном обществе. Это тема, требующая отдельного разговора, и здесь я больше не буду ее касаться; отмечу только, что самоирония сопровождала оппозиционные настроения по крайней мере до конца 60-х гг.

* * *

Теперь давайте попробуем определить, что же все-таки мы имеем в виду, говоря о самиздате 1950-х — 1980-х гг. Ясно, что речь идет об определенном механизме распространения текстов, не прошедших цензуру, осознаваемом как альтернатива официальной печати. Имеется четкий формальный критерий, позволяющий отделить официальную печать от неофициальной — факт «литования», т.е., прохождения через государственную цензуру. Но всякий ли текст, не прошедший цензуру, мы вправе назвать самиздатом? Существует множество разных типов неподцензурных текстов. Назову лишь некоторые: кружковая и домашняя литература (предельный случай — автор, пишущий «в стол»), школьная и вузовская стенная печать, альбомная литература, переписка, документы официального происхождения и т.д. Это не праздный вопрос. Так, в мемуарах В.Буковского упоминается, что в старших классах школы он участвовал в составлении рукописного школьного журнала, и даже не очень идеологически выдержанного. И имел из-за этого серьезные неприятности. Так не следует ли в таком случае считать именно В.Буковского, а не А.Гинзбурга, основоположником самиздатской периодики? С дру-

гой стороны, чем этот школьный журнал хуже стенгазет того же периода в некоторых ленинградских ВУЗах? КГБ вокруг этих стенгазет целые дела раскручивал. Но, с третьей стороны, можно ли считать внимание КГБ к тому или иному тексту достаточным признаком его, так сказать, самиздатности?

Куда причислить тексты, имевшие хождение лишь в узком кругу друзей и знакомых автора — ведь это явление присуще, вероятно, всем эпохам; «кружковая» литература — это своеобразная лаборатория, испытательный полигон для литературного творчества. Текст может выйти за пределы кружка — в печать или в неподцензурное пространство, а может и остаться в этих пределах. Такой известный сейчас поэт, как Б. Чичибабин, много лет подряд существовал лишь для нескольких десятков его знакомых в Харькове и Москве (я не имею в виду ту, по преимуществу, макулатуру, которую он пару раз опубликовал в 60-е гг.). На рубеже 1970-х гг. его стихи прорвались в самиздат — прошу извинить меня, но я вынужден употребить термин, еще не дав ему исчерпывающего определения, в начале перестройки он был «официально» признан и опубликован в «подцензурной» печати.

Последний пример — это иллюстрация того, что под словом «самиздат» имеет смысл подразумевать не сам текст, а скорее способ его бытования. Действительно, одно и то же произведение может быть последовательно фактом домашней, кружковой и самиздатской литературы, может перейти из неподцензурной литературы в «официальную» (не затрагивая лавину перестроечных публикаций, сошлюсь, например, на судьбу русского перевода романа Хемингуэя «По ком звонит колокол»). Или наоборот, из подцензурной литературы в неподцензурное распространение (рассказы Солженицына после изъятия их из библиотек или просто самодельные копии малотиражных или не переиздающихся книг).

Нам необходимо дать какое-то такое определение самиздата, которое позволило бы очертить его границы внутри общего потока неподцензурной литературы, не растворяя его среди смежных явлений культуры. Я бы предложил следующее рабочее определение (хотя, увы, не очень операционное): самиздат — это специфический способ бытования общественно значимых неподцензурных текстов, состоящий в том, что их тиражирование происходит вне авторского контроля, в процессе их распространения в читательской среде. Автор может лишь «запустить текст в самиздат», дальнейшее не в его власти.

Сразу оговорюсь: предложенное определение не дает возможности установить «начало самиздата», более того — очевидно, что с этой позиции послания протопопы Аввакума ничем не отличаются от «Письма вождям», но, может быть, это не минус, а плюс данного определения?

С другой стороны, мы можем теперь отсечь модернистское толкование термина: так, неформальная пресса 1987—1990 гг., пусть нелитованная, самиздатом в этом смысле не является — вопреки Суетнову и многим другим современным библиографам. И это хорошо, ибо, что ни говори, «Хроника текущих событий» и «Экспресс-хроника» не соприродны друг другу, как не соприродны друг другу «диссидентство» 1960-х — 1980-х и «демократическое движение» 1987—1991 гг. К очень важному и непростому вопросу о соотношении между диссидентством и самиздатом я хотел бы вернуться в конце.

Хочу, чтобы меня правильно поняли: все то, о чем я так долго говорил сейчас — не игра ума и не упражнение в дефинициях. Без четких классифицирующих признаков не решить ни проблему собирательства, ни проблему научного описания текстов, ни проблему их изучения. А без этого мы так и останемся со своими кустарными мифологемами на руках и никогда не поймем, что же с нами, собственно, происходило, и что же, собственно, произошло.

Мне кажется, например, что нынешняя печальная судьба архивов отдела Самиздата на Радио «Свобода» не в последнюю очередь связана именно с неопределенностью предмета собирания и изучения. Я не знаю, было ли какое-то специальное решение отнести к самиздату неформальную прессу времен перестройки, но практика такого рода, на мой взгляд, оказалась роковой. Предмет исследования попросту исчез, растворился, потонул в ворохе неформальных изданий 1987—1991 гг. Впрочем, эта методологическая ошибка — отнюдь не прерогатива одного Мюнхена. В многочисленных справочниках «по самиздату», вышедших в последние годы, неформальная печать, документы политических движений последних лет и самиздат в моем понимании этого слова объединяются по единственному признаку — неподцензурности. Я убежден, что при этом в одну кучу сваливаются совершенно разнородные явления.

* * *

Попробуем теперь взглянуть на историю советского самиздата послевоенного периода с заявленной позиции. Конечно, я дам лишь пунктирный обзор, и имена, которые я буду называть, достаточно случайны, их выбор носит скорее иллюстративный характер.

Мне представляется — по мемуаристике и устным воспоминаниям современников — что в 1940-х — начале 1950-х гг. в списках ходили почти исключительно стихи; в сталинскую эпоху это был, прежде всего, Гумилев. Позже появились и современные поэты: Слуцкий, Корнилов, Окуджава, Сапгир, Холин, Евтушенко, Аронов, Ахмадулина.

Рубикон был перейден где-то ближе к концу десятилетия — самиздат освоил прозаические и далеко не всегда беллетристические тексты. Поразительно, но в первую очередь это были переводные тексты: Кестлер, Оруэлл, Кафка, «Письмо к заложнику» Сент-Экзюпери, Нобелевская лекция А. Камю. Конечно, выбирались произведения, созвучные отечественной проблематике. К сожалению, мы лишь в редких случаях знаем имена переводчиков. В сущности, именно они, переводчики, были первыми литераторами, осознанно использующими механизм самиздата.

Что касается отечественной прозы, то, как мне кажется, в 1950-е это была проза Платонова, Зощенко и «Доктор Живаго» Пастернака, который распространялся по стране не столько в машинописи, сколько в виде фотокопии с зарубежных изданий. Ну, и конечно, особый жанр, который я бы назвал «републикациями самиздата» — произведения, когда-то опубликованные в СССР и не переиздававшиеся в течение десятилетий: письма Короленько Луначарскому, «Несвоевременные мысли» Горького, Пильняк, Замятин, Булгаков и т.д.

В начале 1960-х самиздат подхватил мемуары Евгении Гинзбург, рассказы Шаламова, причем явно не в качестве художественной прозы, а как историко-философские произведения. Сюда же надо отнести и знаменитое «Открытое письмо» Эрнста Генри Илье Эренбургу и одну из самых, по-моему, толстых книг в мире — работу Роя Медведева о сталинизме «К суду истории». Последний пример лишний раз показывает, что в 1960-е объем вещи не имел еще решающего значения для того, будет ли она подхвачена самиздатом или нет.

Видимо, где-то в это же время в самиздате начали циркулировать сборники «Вехи», «Из глубины», работы Бердяева и других религиозных философов начала века. Чуть позже самиздат (вероятно, но без участия эмигрантских организаций) включил в себя и откровенно политическую литературу, поступавшую с Запада — Джиласа, Авторханова, программные документы солидаристов. Как и «Доктор Живаго», эти книги распространялись, по преимуществу, в виде фотокопий.

Очень существенным шагом стала попытка Александра Гинзбурга в 1959—1960 гг выпускать самиздатским образом поэтический сборник «Синтаксис». Гинзбург выпустил два сборника, на третьем его посадили. Предприятие явно имело целью создание периодического издания — первый, но очень важный опыт. В это же время и в этом же кругу создавался сборник «Феникс» (сейчас его обычно называют «Фениксом-61», в отличие от «Феникса-66» — сборника, подготовленного Юрием Галансковым пятью годами позже). Характерно, на мой взгляд, что в тот период составлением сборников и альманахов занимаются, по преимуществу, маргина-

лы с площади Маяковского; по-видимому, этот жанр интуитивно ощущается как нечто качественно отличное от обычной самиздатской деятельности, как новый шаг, требующий большей степени независимости от системы. Кстати, Гинзбург был одним из немногих, репрессированных в те годы в связи с самиздатской (повторяю, в предлагаемом мною смысле) деятельностью — вероятно, госбезопасность тоже отнеслась к этим попыткам с особым вниманием.

И, наконец, предтечами будущей диссидентской эпохи стали два текста, которые можно отнести к правозащитной тематике. Включив в себя эти тексты, самиздат забил колю на территории прежде чуждых ему газетных жанров — публицистики, документалистики, судебного очерка. Я имею в виду стенограмму обсуждения Пастернака на общем собрании московских писателей в 1958 г. и запись процесса 1964 г. над Бродским, сделанную Фридой Вигдоровой.

* * *

Суд над Синявским и Даниэлем в феврале 1966 г. стал водоразделом эпох. Начиная с этого момента, русло самиздата четко делится на два рукава. К одному из них относятся отдельные тексты, имеющие широкое самостоятельное хождение, такие, как проза Солженицына, Ерофеева, Войновича, стихи и проза Мандельштама, Цветаевой, Шаламова, мемуары Марченко — в общем, традиционный самиздат предшествующего периода.

Прежде, чем перейти к анализу «второго потока», т.е., диссидентских текстов, я хотел бы вернуться к вопросу о соотношении между самиздатом и диссидентской активностью. Последняя породила огромное количество письменных текстов; именно они составляют подавляющее большинство материалов в архивах отдела Самиздата РС, архиве «Мемориала», ряде фондов Народного архива и в некоторых других исследовательских центрах. Но являются ли они, с нашей точки зрения, самиздатом?

Давайте рассмотрим некоторый умозрительный пример. Вот собрались в году, скажем, в 80-м пять евреев отказников из города, предположим, Смоленска, и сочинили письмо про то, как в восемнадцатый раз отказали одному из них в праве выезда на историческую родину, да еще и с работы уволили, и в подворотне избили. Формально это письмо адресовано в отдел адморганов ЦК КПСС и Генеральному прокурору тов.Руденко. Фактически же оно отпечатано в 8 экземплярах, и у каждого своя судьба. Два экземпляра честно отосланы по адресу, в ЦК и прокуратуру. Еще два переданы знакомым правозащитникам в Москву. Один из этих экземпляров попадает в портфель «Хроники текущих событий», аннотируется в очередном выпуске, а после того, как выпуск подготовлен, скорее всего уничтожается. Другой посылается с

попутным иностранцем за границу и там, после долгих хождений, оседает в конце концов в фондах Центра изучения восточноевропейского еврейства в Израиле. А ксерокопия пересылается в Мюнхен, в архивы отдела самиздата Радио «Свобода», и тоже там оседает — в справочных фондах. Публиковать его никто не будет, по причине стандартности изложенных в нем фактов и перенасыщенности прессы подобной информацией — времена, когда такие письма печатались на первых страницах ведущих западных изданий, кончились к середине 1970-х гг.

Что касается оставшихся 4-х экземпляров, то три из них остаются у авторов письма и через месяц благополучно изымаются у них при обыске. Последний же экземпляр, который был предусмотрительно отдан «незасвеченному» знакомому, чтобы тот его хранил, так и лежит где-то на антресолях вместе с другими подобными документами до 1991 года. А в 1991 году хозяину антресолей понадобилось разобрать старые бумаги. Он весь этот ворох берет и отдает в общество «Мемориал», где мы начинаем думать, что же с этим письмом делать и как его описывать: как самиздатский текст или нет? Что это вообще за самиздат, который никто ни разу не перепечатывал?

Я опять-таки прошу понять меня правильно. Когда я так иронически говорю о подобных текстах, я вовсе не имею в виду, что в них нет никакой ценности. Наоборот, это очень ценные тексты, они имеют двойную ценность. Во-первых, как свидетельство о преследованиях, о нарушении прав человека в этой стране, свидетельство, содержащее конкретные даты, имена, факты. А во-вторых, как свидетельство сопротивления режиму: ведь само написание и отсылка этого письма — это уже акт Сопротивления. Но к самиздату все это не имеет никакого отношения. В данном случае мы имеем дело с документом диссидентского движения, точнее, с документом, связанным с одним из многих наших диссидентских движений — движением евреев-отказников.

Таким образом, далеко не все документы диссидентского движения являются событиями самиздата, что, подчеркиваю, ни в коей мере не выводит их из сферы наших интересов. Просто эти документы имеют самостоятельную научную ценность, независимо от способа их бытования. Но и принципы классификации их, и методика изучения будут совсем другими.

* * *

Какие же материалы, связанные с диссидентской эпохой, будут все-таки, с нашей точки зрения, также и текстами самиздата? Рассмотрим, прежде всего, жанровую специфику этого «второго потока». Это те тексты, которые относятся к жанрам документа, публицистической заметки, судебного очерка, хроники и т.д. То

есть, это по существу, газетные и журнальные жанры. В период петиционной кампании 1966—1969 гг. именно эти жанры определяли лицо нарождающегося правозащитного движения. Среди них попадаются блистательные образцы отечественной публицистики (достаточно назвать имена Анатолия Якобсона, Лидии Чуковской, Раисы Лерт), интереснейшие документальные свидетельства эпохи (например, знаменитая запись обсуждения книги А. Некрича «22 июня 1941 года» в Институте истории АН СССР). Конечно же, эти тексты имели самостоятельное и достаточно широкое хождение. Но основная масса этих материалов, — «письма протеста», — при всей важности их изучения, остались все же однодневками, которые, вероятно, не могли бы сами по себе иметь достаточного распространения.

Самиздатская форма существования правозащитных документов была изобретена тем же Александром Гинзбургом, составившим в 1966 году «Белую книгу по делу Синявского-Даниэля». Эта форма — документальный сборник. В течение ряда лет именно документальные сборники стали общественно значимым явлением в диссидентском самиздате. Можно перечислить целый ряд таких сборников, появившихся после «Белой книги»: «Дело о демонстрации 22 января 1967 г.» Павла Литвинова (1967), его же «Процесс четырех» (1968), «Полдень» Натальи Горбаневской (1969), сборник «Четырнадцать последних слов», составленный Юлиусом Телесиным (1970), и некоторые другие. Чуть позднее, к середине 1970-х, самиздатские альманахи вышли за рамки чисто правозащитной тематики, стали появляться философско-религиозные и общественно-политические сборники, такие, как «Из-под глыб», «Жить не по лжи» (можно отметить еще неудавшуюся попытку собрать альтернативный «Глыбам» сборник под условным названием «Через топь»). Впрочем, первой ласточкой такого рода был, по-видимому, все же галанковский «Феникс-66», часть материалов которого носила даже беллетристический характер.

Ясно, что эта тенденция не могла не привести к возникновению уже откровенно повременных изданий — «толстых» и «тонких» самиздатских журналов. Пионером самиздатской журналистики (после «Синтаксиса») был Рой Медведев, выпускавший во второй половине 1960-х — начале 1970-х машинописные журналы «Политический дневник» и «XX век», имевшие, впрочем, довольно ограниченное хождение. В первой половине 1970-х выходили «толстые» журналы «Вече» и «Евреи в СССР», представлявшие, соответственно, «новую русскую правую» — диссидентскую компоненту почвенничества, и еврейское (по преимуществу, эмиграционное) национальное движение. Но настоящий «журнальный бум» случился во второй половине 1970-х. К сожалению, время не позволяет мне подробнее остановиться на этом важнейшем

этапе развития самиздатской периодики. Отмечу только, что центрами самиздатской журналистики стали Ленинград, Москва, Прибалтика (по преимуществу, Литва), Украина. Несколькими попытками издания журналов были предприняты в Грузии и Армении. Мы не имеем сведений о журналистике в российской провинции, за исключением издания подпольных политических группировок — но, может быть, это объясняется недостаточностью наших сведений. В целом можно сказать, что период 1970-х — это период журналистики: библиография самиздатских журналов будет, несомненно, насчитывать многие десятки наименований. При этом в некоторых из них (например, в «Поисках») печатались и произведения беллетристические, литературные, т.е., отнесенные нами к «первому руслу» самиздата. Но собственно литературных опытов я знаю только два: всем известные «Метрополь» и «Каталог».

Особое место занимают информационные бюллетени правозащитников и других диссидентских течений: «Хроника текущих событий», «Украинский вестник», «Хроника Литовской Католической Церкви», «Бюллетень Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях», «Бюллетень Совета родственников узников евангельских христиан-баптистов» и ряд других. По самому своему смыслу эти бюллетени были не чем иным, как самиздатскими газетами. Неважно, что интервалы между выпусками составляли от полутора-двух месяцев до полугодя. Характер и формы подачи материала, стиливые и интонационные черты, способы сбора информации и распространения тиража — все это сближает перечисленные бюллетени с такой, например, газетой, как герценовский «Колокол». Только «Колокол» печатался типографским способом в Лондоне и нелегально ввозился в страну в готовом виде, а тиражирование правозащитных изданий происходило, до поры до времени, в соответствии с самиздатской традицией, самопроизвольно и рассредоточенно, по ходу распространения, самими читателями.

* * *

Мне кажется, что все вышеуказанные соображения подсказывают простой способ определения «самиздатности» диссидентского текста для периода после 1965 г.: аналогом «публикации» такого текста в самиздате могло бы считаться появление его в том или ином самиздатском периодическом издании или сборнике, «самиздатность» которых сомнения, как правило, не вызывает,

Конечно, нет правил без исключений. Вероятно, найдутся и такие диссидентские документы (особенно второй половины 1960-х — начала 1970-х гг.), которые имели самостоятельное самиздатское хождение, но, тем не менее, ни в какие сборники не вошли. С другой стороны, циркуляция машинописных копий некоторых

поздних повременных изданий (например, исторического сборника «Память») была ограничена весьма узким кругом читателей: их распространение шло, в основном, за счет издания за рубежом и последующего нелегального ввоза «тамиздатных» экземпляров в СССР. Однако за основу для составления библиографического справочника этот алгоритм, думается, можно было бы принять.

Другая сторона связи между самиздатом и диссидентскими движениями состоит в том, что в основе обоих явлений лежит идея не столько борьбы с режимом, сколько игнорирования его предписаний. Это модель поведения внутренне свободного человека в несвободном обществе. Отсюда лозунг правозащитников: «осуществление прав и свобод явочным порядком». Механизмом реализации наиболее важной из таких свобод — свободы слова — и стал самиздат, все равно какой — художественный, политический или научный. В этом смысле эссе Г.Гачева о хтонических началах в романах Достоевского совершенно равноправно сосуществует в самиздате с «памяткой» А.Есенина-Вольпина «Как вести себя на допросах».

Не случайно КГБ так и не выработал системного взгляда ни на самиздат, ни на диссидентство как явление и так и не научился с ними бороться. Даже в документах Комитета эти слова употребляются нечасто и с обязательным префиксом «так называемые». Конечно, госбезопасность изымала самиздат при обысках; конечно, она иногда изымала и людей, его распространявших. Но она ни разу не сформулировала четкую операционную концепцию. Невозможно бороться с чем-то, что тебя просто игнорирует, и с чем-то, что ты предпочитаешь игнорировать, с явлением, для которого тебя просто нет по определению, с которым ты существуешь в разных измерениях.

Из сказанного вытекает, что я полностью ввожу самиздат как явление в рамки диссидентства. Иными словами, хотя не всякий документ диссидентских движений есть факт самиздата, но всякий текст самиздата (в том числе и относящийся к «первому» или «сугубо литературному» руслу) есть факт диссидентства — вполне определенного культурно-политического явления, ограниченного вполне определенными критериями.

* * *

Отсюда вытекают и некоторые соображения по проблеме, о которой я говорил в начале своего выступления: о роли и влиянии самиздата и произошедшие в нашей стране события. На мой взгляд, это часть вопроса о роли диссидентской активности, шире — о роли инакомыслия. Ответ на этот вопрос чрезвычайно сложен, он требует многих и длительных исследований — но все же я рискнул бы осторожно сформулировать рабочую гипотезу. Пола-

гаю, что миф о самиздате, сокрушившем режим, — это все-таки миф. Самиздатчики, диссиденты, инакомыслящие не были в большинстве своем борцами с режимом, а если кто-то и был, то это оставалось его личным делом. Мне представляется, что у инакомысля (и у самиздата как основного его инструмента) была иная историческая задача — быть полигоном для завтрашнего (нынче уже сегодняшнего) дня, моделью будущего свободного общества. Как диссидентство с этой задачей справилось — другой вопрос.

И последнее, чего я хотел бы коснуться — это вопрос о временных рамках самиздата. Конечно, что касается нижней границы, то, как я уже говорил, принципиальной разницы между самиздатом пушкинской и хрущевской эпохи, в общем, нет. Хотя, конечно, распространение запрещенной литературы в списках смогло стать значимым общественным явлением лишь с вхождением в быт пишущих машинок (один огоньковский журналист года три назад несколько патетически, но по существу правильно, предлагал поставить на московской площади памятник пишущей машинке). Появление пишущих машинок в личном владении стало для свободы мысли тем же, чем изобретение Гуттенберга для культуры в целом — это понятно.

А вот вопрос о верхней границе уже несколько сложнее. Ясно, что исчезновение самиздата не могло произойти позже, чем летом 1990 г., когда в России была отменена цензура как государственный институт. Однако, самиздат (в нашем понимании этого слова) исчез несомненно раньше. Когда же: в 1987 г., с началом перестройки? В начале 1980-х, с усилением репрессий? Я полагаю, что упадок самиздатской деятельности наступил значительно раньше, в конце 1970-х гг., и был связан не с репрессиями, а наоборот, с появлением новых альтернативных возможностей, определяемых новым термином — «тамиздат». Но это — тема для отдельного разговора.

Клаус МИХАЭЛЬ

Самиздатовская литература в ГДР и влияние госбезопасности

1. Литература в самиздате

Литература, которая выходила в самиздате, была в ГДР, скорее, случаем исключительным. Выпускавшуюся самиздатом литературу ГДР нельзя сравнивать с самиздатовской литературой в восточноевропейских странах. Строго говоря, речь о самиздатовской литературе ГДР может идти только применительно к 80-м годам. Я имею в виду издававшиеся самиздатом журналы и книги художников-графиков. В 1979—1989 годах родилось 30 литературных журналов и около 10 журналов с культурно-политической информацией, к ним добавляются сотни книг художников-графиков.

Разумеется, до этого были рукописи и ходившие в списках книги, которые не могли быть выпущены в ГДР и передавались из рук в руки. Вспомним о «Чудесных годах» Райнера Кунце, «Протоколах памяти» Юргена Фукса, об «Альтернативе» Рудольфа Баро или об «Открытых письмах» Франца Фюмана.

Предтечей самиздатовской литературы можно назвать сегодня книги художников и подборки иллюстраций графиков к текстам близких им авторов. Такая форма публикации всегда занимала заметное место в истории немецкой литературы и искусства. Напомним, к примеру, об изданиях немецкого экспрессионизма. Оформление авторских книг графиками практиковалось также в качестве дипломных работ в художественных вузах ГДР. Это было продиктовано прагматическими соображениями, поскольку для выпуска этих уникалов не требовалось разрешения цензуры. До 1979 года такие работы выпускались без особых проблем мастерскими Союза художников, а впоследствии немалая заслуга в издании такого рода книг и подборок иллюстраций принадлежала маленьким частным типографиям в Дрездене и Берлине.

Однако объемные произведения или крупные прозаические работы в самиздате не выходили. Эта особенность объяснялась спецификой германо-германских отношений. То, что нельзя было напечатать в ГДР, выпускалось, как правило, на Западе и находило затем оттуда дорогу домой. Многие произведения, ставшие сегодня каноническими в литературе ГДР, были сначала опубликованы на Западе. Это относилось к работам Кристи Вольф, Стефана Гейма или Хайнера Мюллера в той же мере как и к книгам Рольфа Шнайдера, Юрека Бекера или Вольфганга Хиль-

бига. Запад всегда был настоящим самиздатом для Востока. А то, что не квалифицировалось прямо как «враждебное государству», рано или поздно, либо с изменениями в тексте можно было опубликовать и в одном из издательств ГДР.

Важной вехой стала высылка Бирмана в ноябре 1976 года. Это было начало культурно-политического оледенения в ГДР, сохранявшегося и в 80-е годы. Свыше ста авторов покинули ГДР. Одним из наиболее важных последствий «дела Бирмана» явились кадровые перемены в культурных ведомствах. Создание особого главного отдела «штази» по борьбе с «нелегальной политической деятельностью» (9-й отдел Главного управления XX) в начале 80-х годов тоже было порождено «делом Бирмана». Сегодня можно констатировать, что последствия высылки Бирмана во многом способствовали появлению в ГДР самиздатовской литературы.

Наступившая в издательском деле рестриктивная политика коснулась не только критически настроенных авторов поколения Кристи Вольф и Вольфа Бирмана, но и более молодого писательского поколения — сегодняшних тридцати- и сорокалетних. Это поколение оказалось перед двойной дилеммой. По эстетическим и идеологическим причинам публиковаться в ГДР оно не могло, а на Западе было еще неизвестно. Молодые обращались за поддержкой к известным авторам, таким — как Франц Фюман, Фолькер Браун, Рихард Питрас, Эльке Эрб или Герхард Вольф, или сами искали возможности печататься.

Идеи создания писательского журнала возникали постоянно. И в 70-е, и в 80-е годы об этом говорилось на писательских съездах. Однако все усилия по созданию параллельно существующим периодическим изданиям нового журнала, который был бы свободен от институционных пут, встречались в штыки. Наученные горьким опытом дискуссий 1966 года вокруг журнала «Форум», те, кто принимал политические решения, не могли допустить, чтобы на их монополию по формированию общественного мнения покушалась какая-то, пусть и литературная, полемика. Тогда как в Венгрии уже к середине 80-х годов насчитывалось свыше двадцати литературных изданий, в ГДР до самого падения берлинской стены их было всего три: «Зинн унд Форм» — издание Академии искусств, «Нойе дойче литератур» — орган Союза писателей ГДР и журнал «Темпераменте», который выходил в молодежном издательстве «Нойес лебен» и ответственность за который тем самым нес Центральный совет ССНМ. Последнюю попытку по выпуску писательского журнала предприняло одно писательское объединение, подавшее заявку на издание под названием «Бицарре штедте» (Причудливые города). Хотя этот проект поддерживался видными авторами, издателя, который воплотил бы идею в жизнь, так и не нашлось. В конечном итоге

журнал начал выходить в распечатанном на компьютере виде маленьким тиражом в 20-50 экземпляров.

Первые журналы, периодически выходившие в самиздате и бывшие не просто рукописными сборниками, появились в 1979 году в Лейпциге и Берлине. Они назывались «Латерненман» (Фонарщик) и «Папиртаубе» (Бумажный голубь). За ними последовали и другие, и к 1989 году их было уже тридцать. Их названия, о чем уже писал как-то литературовед Петер Бётиг, были одновременно и их эстетической программой. А назывались они «Аншлаг», «А:З», «Энтвертер — одер» (Хулитель — или)*, «Шаден» (Ущерб)**, «Поэзи-аль-бум» (Поэтический альбом)***, «Ариаднефабрик» (Фабрика Ариадны), «Бицарре штедте» (Причудливые города), «Лиане» (Лиана), «Фервендунг» (Применение)****, «Контекст» и т.п.).

Сегодня в самом общем виде можно выделить три фазы самиздатовской литературы:

Начальную фазу, с 1979 по 1982 год, когда еще предпринимались попытки соединения официальной и неофициальной литературы.

Затем последовала фаза, характеризовавшаяся чертами эпатажа культуры (1982—1985 годы) и приведшая — в первую очередь в Дрездене, Лейпциге и Берлине — к формированию альтернативной художественной инфраструктуры.

И, наконец, можно выделить фазу так называемых поздних образований 1986—1989 годов. Здесь произошёл очевидный разрыв между культурно-политическими и чисто литературными журналами. И среди литературных изданий тоже началось размежевание по функциям. Журналы были не в последнюю очередь рупорами художественных группировок. Так, назовем для примера журнал для кинороботников «Кома-кино» (Коматозное кино), журнал «Ариаднефабрик» специализировался на эссеистике, или издание «Фервендунг», где публиковались переводы иностранной литературы.

С середины 80-х годов вместе с возникновением оппозиционных и правозащитных групп появились и первые культурно-политические информационные журналы. Некоторые из них стали

* Это основанное на созвучии с разделительным союзом «энтведер — одер» (или — или), название можно приблизительно перевести также как «Обесценивающий ценности, или Создающий оные» (примеч. перев.).

** Это слово имеет также значение «вред», «убыток», «поломка», «дефект», «потеря» (примеч. перев.).

*** В данном написании название представляет собой в то же время набор слов: По (американский писатель) — они (или она) — все (или все) — бум! (бах! бац!) (примеч. перев.).

**** Также «использование», «употребление», но и — «ходатайство». «заступничество» (примеч. перев.).

известны благодаря политическим акциям тех, кто их издавал: «Архе Нова» (Новый ковчег), «Ауфриссе» (Наброски), «Гренцфаль» (Пограничный инцидент)*, «Одер» (Или), «Умвельблеттер» (Листки окружающей среды) и др. Каких-либо прочных связей литературных изданий с политическими акциями не было. Писатели в своем большинстве либо вообще не входили в группировки правозащитников, либо примыкали к ним где-то сбоку, что характерно для культурного климата тех лет. Доминировавшее еще в 70-е годы тождество между литературой и критической настроенностью общества стало нечетким. И все-таки было немало попыток установить связи между оппозицией и литературой. Одной из важнейших акций следует назвать основанный в 1988 году Торстеном Метелкой журнал «Контекст», в редсовете которого сотрудничали, в частности, Вольфганг Ульман и Элке Эрб. Этот просуществовавший до 1991 года журнал рассматривал себя как подиум, на котором должны были сходить самые разные критические и реформаторские почины в политике, экономике, культуре и церкви. Его предшественником был политический информационный журнал «Гренцфаль», нелегально печатавшийся и распространявшийся в 1986—1987 годах «Инициативой за мир и гражданские права». В январе 1989 года вышел под редакцией Герда Поппе и Петера Гримма первый номер журнала «Осткройц» (Восточный перекресток), рассматривавшего себя прежде всего как информационную сеть между группами политической и культурной оппозиции в странах восточного блока.

Номера первых самиздатовских литературных журналов редко имели тираж, который превышал бы 20—50 экземпляров, и изготавливались они на множительных аппаратах. Оригинальные фотографии, черно-белые и иногда цветные иллюстрации придавали им характер уникалов. Каждый из участников получал по номеру, остальной тираж шел на продажу. Быстро став объектами охоты коллекционеров как на Востоке, так и на Западе, они немало способствовали и социальной защищенности тех, кто их издавал. В конце 80-х годов литературная периодика имела уже тиражи порядка 50-200 экземпляров, а номера информационных журналов выходили тиражом в 800—1000 экземпляров. Такой рост тиражей обеспечивался в первую очередь применением офсетной техники, копировальных машин, компьютеров или пишущих машинок с запоминающим устройством, которые ввозились в ГДР контрабандным путем. К тому же информационные журналы могли пользоваться множительной техникой евангелической церкви.

Этот процесс развития не остался незамеченным. Все же до

* Также «крайний случай», «предел» (примеч. перев.).

полицейских запретов дело доходило лишь в редких случаях. Литературные журналы запрещались дважды. В 1984 году в Дрездене был наложен запрет на журнал «Унд» (И), а в 1986 году в Галле — на журнал «Галсре» (Галера). Их редакторы и авторы эмигрировали на Запад либо отделались денежными штрафами. Репрессии же против политических журналов имели место лишь однажды, в ноябре 1987 года, когда с большим шумом были конфискованы «Гренцфаль» и «Умвельтблеттер». Здесь дело дошло до арестов и конфискации множительной техники.

После предания гласности документов «штази» выяснилось, что госбезопасность была информирована о самиздатовских публикациях куда лучше, чем это предполагалось ранее. Однако и по сей день невозможно доказать, что какой-то из журналов был основан с благословения «штази». Известна лишь одна-единственная попытка оказать публицистическое воздействие на дискуссии в оппозиционной среде. Выходившие в Берлине «Вайсензеер блеттер» (Листки Вайсензее) имели целью противостоять политическим информационным журналам и распространяли под маской нелегального издания немало материалов в поддержку государства. Выпускались эти «Листки» восточноберлинским крылом «Христианской мирной конференции» (ХМК), некоторые из членов руководства которой, как потом выяснилось, были «неофициальными сотрудниками» госбезопасности.

Здесь следует вкратце обозначить несколько этапов отношений государства с самиздатовской литературой. Уже в середине 70-х годов отдел культуры ЦК СЕДПГ имел информацию о планах основания самиздатовского писательского журнала. В ноябре 1981 года на одном из заседаний ЦК была определена стратегия отношения к «неорганизованным» авторам. С 1984 года информация о выходящей в самиздате литературе концентрируется в Группе анализа и контроля (ГАК) госбезопасности. Параллельно с этим в Высшей юридической школе МГБ намечаются темы дипломных работ, посвященных, в частности, и феномену самиздата. В 1987 году директор Саксонской земельной библиотеки в Дрездене получает от госбезопасности указание о создании официального отделения по собиранию и изучению вышедших в самиздате книг художников-графиков и журналов.

2. Приемы стратегии по обращению с «неорганизованными» авторами.

До середины 70-х годов литературные журналы и учреждения культуры ГДР еще проявляли способность к интеграции. Благодаря протекции и поддержке со стороны видных писателей удавалось представлять новые литературные и эстетические концепции,

даже если они и не отвечали привычным эстетическим нормам. Здесь можно назвать работы Уве Кольбе, Франка-Вольфа Маттиса, Стефана Дёринга, Берта Папенфусса, Рюдигера Розенталя и других. В конце же 70-х годов ситуация изменяется. После истории с Бирманом любое нарушение эстетических правил теперь все чаще трактуется как политический афронт. Это приводит к тому, что из культурной жизни ГДР оказывается исключенным целое поколение молодых авторов. В 1980 году Франц Фюман поручил двум представителям этого поколения — Саше Андерсону и Уве Кольбе — собрать все тексты, которые нельзя было напечатать в ГДР. Такая антология была составлена, передана в октябре 1981 года в Академию искусств и вызвала там большой интерес. Среди тридцати представленных в ней авторов мы видим многие имена, которые нам хорошо знакомы сегодня, в их числе Вольфганг Хильбиг, Моника Марон, Лутц Ратенов и Беттина Венер.

Пока авторы «охватывались» Союзом писателей или занимались их пестованием структурами ССНМ, они в самом широком смысле находились под контролирующим присмотром государства. Но вот к исключенным в 1979 году из СП писателям и их более молодым коллегам это уже не относилось. И в 1981 году нельзя было не заметить, что круг авторов, существующих вне какой-либо государственной организации, с каждым годом все увеличивается. Это начало менять в глазах Востока и Запада картину литературы ГДР. Антология была запрещена, а все рукописи конфискованы.

11 ноября 1981 года предложенная Фюманом антология была рассмотрена в ЦК. Результатом этого заседания ЦК стала «Концепция работы с молодыми писателями и другими гражданами, занимающимися писательским трудом». В ней содержались основополагающие методы обращения с «неорганизованными» авторами на период до конца 80-х годов. Был выработан дифференцированный план, по которому все авторы подразделялись на три категории. Так, там, в частности, говорится, что того, кто «в положительном смысле может быть воспитан полезным для социализма», следовало бы принять кандидатом в члены Союза писателей. Тех, чья работа оказывается направленной против государства, надо привлечь к регулярному труду. А с теми, «кто ведет себя асоциально и враждебно по отношению к государству, нужно поступить в соответствии с законами».

Во-вторых, уже несколько дней спустя один из строго секретных документов МГБ, ссылаясь на это заседание ЦК, информировал о подготовке некоего «закона по защите звания профессионального писателя». Этот закон, который должен был по-новому определить статус «свободного писателя», правда, так и не был

принят. А мыслилось предусмотреть в нем, что не будет считаться тунеядцем и имеет право называть себя профессиональным писателем только автор, который является членом Союза писателей, либо может представить справку об определенном минимуме, зарабатываемом им литературным трудом. Учитывались при этом только публикации в ГДР. Если бы этот закон вступил в силу, то он имел бы для свободных, но официально не признанных художников самые тяжелые последствия. Ведь тот, у кого не было никакой другой работы, лишался бы права на жилье и медицинское страхование. К тому же он еще оказывался бы в опасной близости от статьи о тунеядстве и невольно попадал под недремлющее око властей.

В-третьих, было издано распоряжение о создании в окружных городах ГДР так называемых «литературных центров», куда начинающие авторы могли бы представлять свои работы. Выполнять это решение поручалось как окружкомам СЕПГ, так и окружным управлениям МГБ. Задним числом можно констатировать, что эти литературные центры в округах так и не достигли своей истинной цели. Сегодня есть все основания считать, что руководителями указанных литературных центров, как это и предписывалось строго секретным документом «штази», были большей частью «неофициальные сотрудники» госбезопасности.

Итак, мы высветили вкратце тот культурный климат, в котором возникла самиздатовская литература. Поскольку публиковаться официально возможности не было, то создавались возможности неофициальные. Сегодня встает вопрос: почему же это вызвало столь рестриктивную реакцию со стороны государства? Что за опасения связывались с этими авторами? Просматривая документы МГБ, я при первом приближении выявил тут три основных причины, побудившие госбезопасность к активным действиям в сфере литературы.

Во-первых, любая организованная инициатива, не исходившая от государства, являлась святотатством. Было опасение, что выступление единым фронтом тридцати авторов антологии может при определенных условиях вылиться в новый литературный скандал, возможно, даже в повторение истории с Бирманом. Во-вторых, показалось, что этот писательский почин породит некие «враждебно-негативные» группы, а то и «внутреннюю оппозицию».

Как показывают более поздние оценки, госбезопасность определила «неорганизованных» авторов как потенциальные «опорные пункты вражеской идеологии» (ОПВИ). Руководствуясь излюбленной в годы холодной войны схемой «друг-враг», ГБ полагала, что в кризисные времена такие «опорные пункты» могут активизироваться и выступить против ГДР и социализма. Выработанные вслед за запретом Антологии Академии искусств критерии были

перенесены и на литературу самиздата. Большинство участвовавших в Антологии авторов стали «объектами» «оперативного контроля за лицами» (ОКЛ) или «оперативных разработок» (ОР). Задача «оперативного контроля» — собирать сведения о подозреваемом человеке среди его окружения, коллег по работе, в семье и в кругу друзей. Если же возникало подозрение о «наказуемости его деяний», то «оперативный контроль» переходил в «оперативную разработку», которая, как правило, служила принятию по отношению к этому лицу дисциплинарных мер, а если сделать это официальным путем почему-либо было невозможно, то подготовке его ареста. Подслушивание телефонных разговоров и установка подслушивающих устройств — «жучков» — были при этом столь же распространенными явлениями, как и перлюстрация и недоставка корреспонденции.

Здесь имеет значение, к какой спархии «штази» был отнесен тот или иной автор. Тот, кто не работал в штате, не имел контактов с издательствами и никак не был связан с Союзом писателей, автоматически регистрировался 9-м отделом Главного управления ХХ, следившим за «нелегальной политической деятельностью». Тех же авторов, у кого имелись контакты с издательствами, «вел» 7-й отдел Главного управления ХХ, отвечавший за официальные культурные ведомства, за кино, радио и телевидение. «Нелегальность» была, таким образом, отнюдь не только понятием политическим или проходящим лишь по ведомству безопасности, но одновременно и определением профессионального статуса и социального места того или иного автора в обществе ГДР.

Из этой схемы видны два момента. Во-первых, для госбезопасности было не столь важно содержание произведений, сколько социальное поведение их авторов. Тот, кто печатался в самиздате, автоматически причислялся к «политическим нелегалам» — независимо от того, имели его тексты какую-то политическую направленность или нет. Во-вторых, это свидетельствует, что госбезопасность все в большей мере брала на себя культурно-политические задачи. После того как от литературной жизни были отлучены два писательских поколения, госбезопасность стала единственным учреждением, которое могло теперь материализовать влияние государства на группу неорганизованных писателей. Культурная политика сама лишила себя всех других возможностей оказывать влияние.

3. Влияние госбезопасности на литературу самиздата

В центре ГБ-шного образа мира и в области литературы стоял образ врага. Этим объясняется усиленное привлечение ею авторов,

бывших одновременно ее «неофициальными сотрудниками». Сегодня мы знаем не только о том, что на нее годами работали Герман Кант и Пауль Винс или что у Кристи Вольф и Гюнтера де Бройна были контакты со «штази» в конце 50-х годов. Здесь-то речь шла об авторах, которые так или иначе были все же политически и нравственно связаны с ГДР. Более всего поражает деятельность в роли филеров таких писателей как Саша Андерсон и Райнер Шедлински, бывших символическими фигурами на неофициальной литературной сцене в восточноберлинском районе Пренцлауэр Берг и более десяти лет постоянно провозглашавших, что они независимы от государства и работают против него. Через них у «штази» имелась возможность оказывать большее влияние на самиздатовскую литературу нежели через все административные запреты. Благодаря действиям этих «неофициальных сотрудников» возникал эффект воронки. Поскольку организовавшиеся частным образом чтения, выставки и другие мероприятия в церквях, на квартирах и во дворах, равно как и выпуск самиздатовских изданий ГБ старалась все время срывать, то к подобным акциям своих «неофициальных сотрудников» она относилась, как правило, терпимо и поддерживала их. Зачастую «офицеры по руководству» даже побуждали «неофициальных сотрудников» к еще большей активности на литературной сцене и к более энергичному участию в делах, затевавшихся авторами самиздата. Вместе с указаниями о максимальной связанности с ними они, помимо финансовой поддержки, получали и исходную информацию, которой не располагали другие авторы. С годами это совершенно автоматически привело к тому, что «неофициальные сотрудники» сосредоточили в своих руках большую часть инициатив, а в случае с Сашей Андерсоном это вылилось в образование настоящего «комбината искусств». И это отвечало изменившейся стратегии, вытескавшей из истории с Бирманом и предусматривавшей захват ключевых позиций «неофициальными сотрудниками».

В значительно большей мере, нежели сферу литературы, эта новая концепция затронула оппозиционные группы. В конечном же итоге это привело к тому, что относительно маленькие политические группы оказались напичканы «неофициальными сотрудниками». Некоторые из них в 1989—1990 годах занимали ведущие посты во вновь образованных партиях. В этой связи следует напомнить о целом ряде главных кандидатов от СДПГ, «Демократического прорыва», ХДС и НСС на выборах в Народную палату ГДР в марте 1990 года, которые были, как Ибрахим Бёме и Вольфганг Шнур, сотрудниками «штази» либо подозревались, как Лотар де Мезьер, в «стукачестве».

В общих чертах эта интервенция госбезопасности 80-х годов была сформулирована в «Служебном предписании № 2/85 о

превентивных мерах по воспрепятствованию, выявлению и подавлению нелегальной политической деятельности. Этот документ демонстрирует реакцию «штази» на возникновение оппозиционных групп, к числу которых ГБ с присущей ее выводам логикой постоянно причисляла и редакционные круги самиздатских журналов. Воспрепятствовать надлежало «использованию или употреблению в злостных целях возможностей выразительных средств культуры и искусства». Следовало немедленно сообщать лично министру, в частности, об «изготовлении и распространении призывов, обращений и писем», равно как и о «выпуске и распространении не имеющих разрешения на издание печатных и изготовленных с применением множительной техники материалов, о фотографиях, фильмах, видеозаписях, изданиях графики, картинах и эмблемах».

Может быть, именно здесь самое место совершить короткий экскурс в сферу задач, стоявших перед «неофициальными сотрудниками». Согласно документам «штази», скоординированные действия «неофициальных сотрудников» преследовали следующие цели:

— собирать информацию о литературных инициативах, о подготовке акций, которые получили бы общественный резонанс, и о связях с Западом или с Постоянным представительством ФРГ в ГДР;

— представлять доказательства уголовно наказуемых деяний;

— препятствовать образованию враждебно-негативных объединений;

— обострять напряженные отношения между отдельными группами и авторами;

— находить поводы для изоляции и дискредитации писателей, проявляющих политическую активность;

— и противодействовать превращению отдельных авторов в так называемых «писателей-оппозиционеров».

Вместе с преимуществами такой стратегии сразу же обрисовались и ее границы. Хотя МГБ получало весьма солидную информацию, оно было в состоянии правильно оценить все изобилие полученных сведений только в самых редких случаях. Поскольку госбезопасности пришлось в 80-х годах убедиться, что воспрепятствовать выпуску самиздатских журналов и изданий художников-графиков невозможно, она довольствовалась тем, что чинила препятствия проведению политических инициатив и образованию групп. «Неофициальные сотрудники» могли, правда, ограничивать политическое воздействие литературы, но они не могли связать по рукам и ногам всю литературу в целом. В конце концов, госбезопасность и не могла заставить своих «неофициальных сотрудни-

ков» действовать вопреки их же стремлениям быть вершителями дел на литературной сцене. Столь же нелогично было бы привлекать к ответственности авторов и редакторов за их издания, но не подвергать наказанию за то же самое своих «неофициальных сотрудников». И, наконец, многие из поступавших сведений не находили уголовно-правового применения, поскольку были получены неофициальным путем и такое применение нарушило бы конспирацию осведомителей. Парадоксальным образом и без всякого на то умысла со стороны «штанги» деятельность «неофициальных сотрудников» создала с годами в области культуры своего рода особую нишу, некое охраняемое властью свободное пространство, обладавшее сомнительной устойчивостью, хотя госбезопасность и полагала, что ее влияние в этой нише полностью гарантировано.

Сегодня разоблаченные «неофициальные сотрудники» наперебой утверждают, что возникновение этого свободного пространства и стало-то возможным в результате их конспиративной деятельности, а то и вообще претендуют на свое авторство в его создании. Обнаруженные и ставшие теперь доступными документы рисуют совсем иную картину. Донесения НС свидетельствуют не столько о предложениях насчет реформ, сколько об их криминальных порывах и личной ажитации с использованием средств секретной службы. Передаваемые сведения никогда не служили делу защиты литературы, а всегда были для МГБ важными кирпичиками при построении сценариев уголовно-правовых преследований. И тот факт, что в 80-е годы процессы против авторов самиздата стали более редкими, — отнюдь не заслуга «неофициальных сотрудников». Куда в большей степени это была заслуга общего политического климата, уже не позволявшего в эпоху гласности и перестройки устраивать литературные судилища. Меры же по разложению, такие как лишение социальной защищенности, диффамация или изоляция неугодных авторов, были до конца существования ГДР столь же распространены, как тайные обыски квартир.

Бросая взгляд назад, задаешься вопросом: а где же было истинное поле деятельности авторов, выступавших в качестве «неофициальных сотрудников»? В госбезопасности, не жалевшей для них денег и дававшей им видимость принадлежности к власти? Или в литературе, в создании которой они сами участвовали своими произведениями и в которой они годами жили бок о бок с другими писателями, художниками и критиками, как, к примеру, берлинский писатель Райнер Шедлински, выпускавший в 1986—1990 годах журнал эссеистики «Ариаднефабрик»? Сегодня на основании документов можно утверждать, что издание «Ариаднефабрик» не было инспирировано МГБ. Напротив, Госбезопасность постоянно была озабочена тем, как бы ограничить воздействие

этого журнала, заставляя своего «неофициального сотрудника» запаздывать с изданием и сокращать количество номеров в год. Не только конспиративно действовавшие писатели, но и сама история литературы стоит сегодня перед дилеммой, будучи в состоянии лишь туманно определить место этих авторов (одновременно «неофициальных сотрудников») на поприще культуры. Как часть государственной власти они стали в конечном счете представителями репрессивного процесса в культуре. Следствием же явилось то, что как раз те писатели, которые, как Андерсон и Шедлински, служили десять, а то и двадцать лет МГБ, оказались сегодня в парадоксальной ситуации. Они потерпели крах в обеих сферах — и жизненной, и социальной: потеряли и обеспечивавшие их благополучие связи с МГБ, и свое писательское место в литературе самиздата.

Еще в 1988 году в годовом рабочем плане берлинского окружного управления МГБ особое внимание обращалось на самиздатовские литературные журналы. Вот что в нем говорилось: «Выявление и оперативный контроль над усилившимися недозволенными попытками по изготовлению и распространению «литературно-графических журналов» нацеленно негативного или враждебного социализму содержания в целях сбора в короткие сроки доказательств в качестве основы для применения дисциплинарных мер». Далее следовало распоряжение о «координированном сотрудничестве», «обмене информацией» и согласованном «задействовании неофициальных сотрудников при проведении выставок, выступлений авторов «литературно-графических журналов» с читкой своих произведений за пределами столицы ГДР Берлина». Выражаясь ясным языком, это означало, что «неофициальные сотрудники» получили указание немедленно доносить не только о журналах, но и абсолютно обо всем, что имело отношение к принимавшим в них участие писателям и художникам.

И, действительно, Группа анализа и контроля (ГАК) собрала, начиная с 1984 года, под рубрикой «Литературные малотиражные журналы» обширный материал о самиздатовских изданиях и участвовавших в них авторах. На основании этих сведений были составлены библиографические перечни самиздатовских журналов. Интересно, что в первой информации, относящейся к августу 1984 года, выход журналов рассматривается в связи с запрещенной в 1981 году Антологией Академии искусств. Там говорится: «Среди лиц, принимающих участие в этих «литературных журналах», большинство составляют так называемые молодые авторы, которые были представлены <...> в антологии, которая должна была быть опубликована в сборниках «Трудов» Академии искусств. <...> Эти лица, чьи работы по причине их низкого литературного уровня и преимущественно чуждого духу социализма песси-

мистического содержания не публикуются издательствами ГДР, усматривают, по всей видимости, в изготовлении «литературных журналов» возможность выйти хотя бы к какой-то, нусть и ограниченной части публики».

Перечислив выявленные к тому времени издания и их редакторов, составители библиографии делают вывод, что число этих публикаций будет возрастать, а круг участвующих в них авторов расширится. Поэтому ими предлагается целый пакет мер:

1. Затребовать отзыв со стороны юристов;
2. Поручить экспертам из числа неофициальных сотрудников 7-го отдела Главного управления ХХ дать оценку содержания;
3. Предоставить «полученные политико-оперативные сведения заместителю министра культуры, начальнику Главного управления по делам издательств товарищу Хёнке» с рекомендацией «выработать предложения, возможно ли и в какой форме провести с отдельными изготовителями и авторами беседы с той целью, чтобы те прекратили на будущее изготовление и распространение этого вида литературы и представили свои работы на предмет изучения возможностей их публикации в одном из издательств, определить которое должно Главное управление по делам издательств»;
4. Запретить всем участникам дальнейшее изготовление журналов;
5. Создать предпосылки для возбуждения уголовно-правовых дел.

Содержащееся уже в первой информации предположение, что «размноженные и распространенные работы <...> почти все без исключения не содержат открытых враждебных нападок на ГДР и социализм», было три месяца спустя подтверждено соответствующим отделом «штази». И эта «правовая экспертиза» тоже приходит к выводу, что в журналах «не содержится открытых нападок на ГДР» и что «тем самым исключается проведение уголовно-процессуальных действий по контролю над ними». Далее говорится, что выпуск журналов может караться лишь как нарушение процедуры получения разрешения на изготовление печатных и размножаемых материалов. Но за такое нарушение могут налагаться административные штрафы. Помимо того возможно изъятие использованных для изготовления этих изданий материалов и приспособлений без возмещения их стоимости. Такая конфискация имела бы особо тяжелые последствия для художников-графиков и печатников, работающих на дому, поскольку собственная, созданная зачастую с огромным трудом мастерская являлась для многих из них единственным источником средств к существованию. Так что, хотя людям и не грозило непосредствен-

ное уголовно-правовое преследование, но угроза существованию была, пожалуй, ничуть не меньшей.

Вторая, составленная в феврале 1986 года библиография обращает внимание на ряд опасностей, которыми может быть чреват выпуск самиздатских журналов для культурной политики ГДР. Уже во вступительной части этого многостраничного документа говорится: «В целях дальнейшей инспирации и организации так называемой внутренней оппозиции силы противника, а также враждебные круги в области культуры и искусства ГДР» будут форсировать «усилия по выдвижению альтернатив политике партии и правительства в области культуры». Кроме того, существование самиздатских журналов и книг служит для западных средств массовой информации желанным поводом для доказательства существования в ГДР «наряду с санкционированной государством еще и некой второй культуры». Правда, и здесь возбуждать какое-либо уголовно-правовое преследование не рекомендуется. Вместо этого составители документа предлагают подходить к самиздатским авторам дифференцированно. Так, некоторым из них следовало бы предоставить возможности для публикации, что могло бы, как говорится в этой бумаге, повлечь за собой «форсирование процесса дифференциации среди авторов». Далее, следовало бы удовлетворять просьбы ряда писателей и художников о выезде в Западную Германию, размывая тем самым «враждебно-негативный» круг авторов. А в заключение и здесь, наряду с усилением задействованности «нсофициальных сотрудников», проблему предлагается спихнуть на тогдашнего заместителя министра культуры Клауса Хёпке. Интересны результаты анализа социологического спектра 130 принимавших участие в журналах авторов и художников. Из них, как следует из этого рабочего материала, 47 человек были лицами свободных профессий, 4 — студентами, 4 — из рядов научной интеллигенции, а 46 не имели постоянного места работы. Насчет же остальных 47 человек сведений получить не удалось. Почти четверть всех авторов и редакторов к тому моменту уже была охвачена «оперативным контролем за лицами» либо «оперативными разработками», а три года спустя, в 1989-м, этот «охват» составит уже 95 процентов.

А до издательских предложений дело тогда так и не дошло. Не были установлены и контакты с заместителем министра культуры. Первый официальный разговор с одним из издательств ГДР у авторов самиздата состоялся только в 1986 году, когда большинство этих авторов стали уже известны и в Западной Германии. В июне 1986 года редакторы и авторы журналов первыми проявили инициативу и обратились со своей продукцией к публике напрямую. В восточноберлинской Самаритянской церкви был организо-

ван большой цикл выставок и чтений под названием «Слово и дело», в рамках которого впервые демонстрировалась вся палитра литературы и искусства самиздата. Сегодня его можно с полным правом назвать первой «ярмаркой минитипографий» ГДР. Госбезопасность, как обычно, хорошо информированная — в данном случае, среди прочих, и Сашей Андерсоном, одним из организаторов этой выставки, — прореагировала оперативно. *«Эти изготовляемые и распространяемые в Берлине, Дрездене, Лейпциге, Карл-Маркс-Штадте и Галле «журналы» представляют собой попытку альтернативы государственной культурной и издательской политике <...> Можно полагать, что планируемая выставка <...> станет явкой для лиц из политического подполья».* Такой была информация для внутреннего пользования, датированная маем 1986 года. Интересно, что запрета выставки все же не последовало. Вероятно, ее нельзя было запретить официально, поскольку отсутствовала официальная заявка на ее проведение от церкви. И тем не менее со стороны «штази» было сделано все, чтобы оказать нажим на участников выставки. Так, рассказывают, что заместитель обербургомистра Восточного Берлина дал команду высшим церковным деятелям, чтобы те оказали давление на Райнера Эппельмана, ставшего в 1990 году последним министром обороны ГДР, а тогда бывшего священником этой церкви, и заставили его прекратить это мероприятие. Рассказывают также, что от участия в нем пытались удержать и писателей, оказывая на них нажим либо через издательства, либо через Литературный институт им. Иоганнеса Р. Бехера. Правда, как говорится в одной более поздней информации об этом мероприятии, «все беседы оказались безрезультатными». И Саша Андерсон тоже дал понять своему «офицеру по руководству», что запрет выставки привел бы только к тому, что ее перенесли бы в частную мастерскую какого-нибудь художника или же к кому-нибудь на мансарду. К сожалению, выставка вызвала разочарование и у самих ее организаторов. На нее пришло куда меньше посетителей, чем предполагалось. Не произошло в требуемой мере и обмена между отдельными изданиями, чтобы можно было говорить о какой-то новой фазе литературного самиздата. Хотя, собственно, уже вполне назрело время для выпуска целых книг или многотиражного межрегионального журнала. Но в тех технических и политических условиях об этом не приходилось и думать. Отсюда и сделанный «штази» после окончания выставки вывод, *«что планируемого организаторами значительного расширения круга заинтересованных лиц и большого воздействия на общественность им добиться не удалось».*

4. Явления эрозии конца 80-х годов

Самое позднее в середине 80-х годов даже сами сторонники жесткой линии в рядах «штази» поняли, что литературный самиздат не чреват той опасностью, которая приписывалась ему с конца 70-х годов. Какие были тому причины, подробно можно будет поговорить в другой раз. Сегодня следует сказать, что начиная с 1986 года — не в последнюю очередь благодаря приходу к власти Михаила Горбачева — госбезопасность стала менять свою стратегию. Источник политической опасности МГБ видело теперь уже не в самиздатской литературе, а в тех оппозиционных группах, которые требовали гласности и перестройки. Новая же, действовавшая с середины 80-х годов концепция отношения к литературному самиздату может быть названа сегодня программой дезэскалации. Правда, это ни в коей мере не касалось политических журналов.

Мало-помалу самиздатские журналы и книги художников-графиков стали обретать популярность, вызывая широкий интерес как на Востоке, так и на Западе. Их приобретал не только Институт Восточной Европы в Бремене или Архив немецкой литературы в Марбахе, но и Саксонская земельная библиотека в Дрездене, когда представлялся случай, хотя формального разрешения на это она не имела. Такое разрешение было выдано ей официально окружным управлением «штази» задним числом в сентябре 1987 года. В нем директору библиотеки вменялось в обязанность приобрести все появившиеся журналы и подборки художников-графиков. Цель была — составить коллекцию вышедшей в ГДР самиздатской продукции. *«Такое собрание, — говорится в информации дрезденского окружного управления МГБ, — предоставит возможность дать всестороннюю политическую оценку ЛМЖ (литературных малотиражных журналов — К. М.), их места в общественной жизни ГДР ...».*

Разумеется, эти журналы и книги не были доступны любому читателю библиотеки. Их засекретили и включили в категорию «литературы, закрытой для открытого доступа». Примечательно то, что инициатива по их систематическому собиранию исходила от дрезденского офицера, который «вел» когда-то Сашу Андерсона. Вот как он развивал свою идею:

«— Собрание будет продолжено с целью получения максимально полного представления обо всех выходивших в самиздате ЛМЖ. Этот вопрос следует также обсудить с другими библиотеками в ГДР, чтобы выявить и использовать их возможности.

— Это собрание входит в состав Отдела рукописей СЗБ (Саксонской земельной библиотеки — К. М.) и посему подчиняется строжайшему порядку пользования им. Допуск получают

только ученые, имеющие задание на соответствующую исследовательскую работу.

— *При необходимости ЛМЖ предоставляются в распоряжение МГБ для их изучения».*

Следствием этого указания явилось то, что, начиная с этого момента, политически надежные историки и германисты получили право заниматься в научно-исследовательских институтах и университетах темой «нелегальной литературы» уже и «официально». А до того литературоведение ГДР самиздатовскую литературу упорно игнорировало и замалчивало. Тот же, кто, несмотря ни на что и не имея «социального заказа», занимался ею, подвергался опасности, что сам попадет в разряд «неблагонадежных элементов». Правда, и теперь результаты исследований оставались засекреченными.

А вот к политическим информационным журналам никакой терпимости не проявлялось. Против редакторов театрально конфискованного в стиле акции «Ночь и туман» в ноябре 1987 года журнала «Гренцфаль» циркуляр, вышедший из-под пера Эриха Мильке, рекомендовал применить меры из арсенала гражданского и уголовного кодекса:

— *привлечение к регулярному труду;*
— *процедуры, применяемые в случае «признаков тунеядства»;*

— *дисциплинарный надзор за ними на предприятии и по месту жительства согласно распоряжению «О воспитании граждан, замешанных в преступных деяниях»;*

— *доказательство манипулирования ими секретными службами Запада.*

Сходным образом поступали и с другими периодическими изданиями. После того как кружок правозащитников, группировавшийся вокруг журнала «Гренцфаль», во время демонстрации 15 января 1988 года был арестован, уже в марте 1988 года появился новый культурно-политический информационный журнал «Контекст». Он задумывался в первую очередь как ответ на произведенные аресты. Поскольку власти не могли добиться до этого журнала официальным путем — он выходил под патронажем церкви, — госбезопасность решила применить ряд неофициальных мер:

— *негласную конфискацию большей части из тиража в 1000 экземпляров путем почтового контроля;*

— *перехват курьеров;*

— *более интенсивное задействование «неофициальных сотрудников»;*

— *оказание воздействия на церковное руководство.*

Однако времена решительных наступательных действий уже

прошли. В 1987—1988 годах многие устои расшатывались, в том числе и образ врага, грозящего с Запада. Новый враг находился теперь на Востоке. Как угроза воспринимались советская политика перестройки и набирающая силу оппозиция в странах Восточной Европы. Поэтому занимавшийся вопросами церкви отдел берлинского окружного управления «штази» в своей разработке от 10 марта 1987 года, посвященной политическому подполью, рекомендовал значительно шире разрешать писателям и оппозиционерам поездки на Запад, но не позволять им ездить в Чехословакию, Венгрию или Польшу. Запрет на поездки в эти страны — несмотря на «разрешение ездить на капиталистический Запад» — будет сохраняться и впредь, поскольку сплочение «подобных сил нескольких социалистических стран представляет собой качественно более высокий уровень вражеского наступления» нежели тот, которого, как было сказано, можно ожидать в настоящее время с Запада. Это уже интересно хотя бы в том плане, что в конце 80-х годов госбезопасность начала открещиваться от своей же собственной задачи по ведению классовой борьбы и показала тем самым всю абсурдность излюбленного ею в течение десятилетий образа врага, который якобы угрожал с Запада.

Что напоминает еще сегодня о вышедшей в самиздате литературе ГДР? После падения берлинской стены малотиражные журналы оказались перед дилеммой: либо, увеличив тиражи, предстать перед общегерманской читающей публикой, либо остаться в библиофильской сфере искусства книги или рынка искусства. Некоторые из этих журналов превратились после 1990 года в литературные издательства, другие утонули в нахлынувшем с Запада потоке масс-медиа. Приведу лишь несколько примеров. Так, редакторы журнала «Контекст» основали издательство «Контекст-Ферлаг»; в кругах, занимавшихся выпуском журналов «Ариаднефабрик», «Бреген», «Лиане» и «Фервандунг», родилось в 1990 году издательство «Друкхауз Гальрев»; альманах «Бицарре штедте» превратился в почившее затем в бозе издательство «Танталус Ферлаг», а из рядов гражданского движения вышли основатели специализирующегося на политической литературе издательства «Базис-Друк». Из имевшихся когда-то 30 с лишним самиздатовских литературных журналов сегодня существуют только два, а из десяти политических информационных журналов не осталось ни одного.

Вышедшая когда-то в самиздате литература стала за это время частью общенемецкой литературы. Ее представляют такие имена как Стефан Дёринг, Элке Эрб, Дурс Грюнбайн, Вольфганг Хильбиг, Ян Фактор, Габриэле Кахольд, Уве Кольбе, Герт Нойман, Детлеф Оппиц, Берт Папенфусс, Бернд Вагнер, Ульрих Цигер и другие. А первые сборники вышли в ГДР уже в 1988 году, хотя в

то время они еще были событиями «из ряда вон» (так, кстати, и называлась серия, выходявшая под редакцией Герхарда Вольфа в берлинском издательстве «Ауфбау-Ферлаг»). Все прочее стало бы уже давно литературной историей, если бы она не протекала под недремлющим оком госбезопасности. Так что литературная история в условиях диктатуры никогда не бывает просто историей литературы, она всегда — еще и история самой диктатуры.

Использованная литература

О художественных журналах:

Mikado oder Der Kaiser ist nackt. Selbstverlegte Literatur in der DDR: Hrsg. U. Kolbe, L. Trolle und B. Wagner. Darmstadt, 1988; D1980 D1989 Künstlerbücher und originalgrafische Zeitschriften im Selbstverlag. Bibliografie. Hrsg. J. Henkel und S. Russ. Gifkendorf, 1991; Vogel oder Käfig sein. Kunst und Literatur aus unabhängigen Zeitschriften der DDR 1979—1989. Hrsg./ K. Michael und Th. Wohlfahrt. Berlin, 1991; Die andere Sprache. Neue DDR-Literatur der 80er Jahre. Sonderband Text + Kriti; Abriß der Ariadnefabrik. Texte und Essays aus der Zeitschrift Ariadnefabrik 1986—1989. Hrsg. A. Koziol und R. Schedlinski. Berlin, 1990; Jenseits der Staatskultur. Traditionen autonomer Kunst in der DDR. Hrsg. G. Muschter und R. Thomas. München, 1992; Michael K. Neue Verlage und Zeitschriften in Ostdeutschland — Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung «Das Parlament» B 41-42/91; Günther Th. Die subkulturellen Zeitschriften in der DDR und ihre kulturgeschichtliche Bedeutung — Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung «Das Parlament» B 20/92, 8.5.1992.

О культурно-политических информационных журналах:

«grenzfall». Vollständiger Nachdruck aller in der DDR erschienenen Ausgaben (1986—87). Erstes unabhängiges Periodikum der Initiative Frieden und Menschenrechte. Hrsg. R. Hirsch und L. Kopelew. Berlin (West), 1989; «alles ist im untergrund obenauf. einmannfrei...» Beiträge aus der Zeitschrift «KONTEXT» 1988—1990. Hrsg. T. Metelka. Berlin, 1991; Rüdtenklau W. Störenfried. DDR-Opposition 1986—1989. Mit Texten aus den «Umweltblättern». Berlin, 1992.

Йоахим ВАЛЬТЕР Певчие вороны, каркающие соловьи

Секрет внутреннего освобождения — память: это изречение написано на мемориале Йад Вашэм в Иерусалиме. Коллективное забывание, уже раз случившееся у немцев в этом столетии, идет полным ходом по ту и другую сторону Эльбы после объединения Германии.

На Востоке, под давлением актуальных проблем и необычайно быстрой переоценки всех ценностей, начинается марафон. И вот мы в Германии, нет, не в Утопии: приехали, никуда, собственно, не уезжая. Восточные немцы присоединились к государству, аборигены которого в большинстве своем считают право на существование данным им как минимум мировым духом. Вновь пришедшие растерянно мечутся между упрямством самоутверждения и массивированным принуждением к адаптации. Объединенные, но далеко не примиренные ни в себе самих, ни между собой, одни считают, что их колонизовали, другие, что их освободили, — идет новое разделение на проигравших и победивших, на жертв и палачей, на рычащих волков и блеющих овец. Ко всему прочему, им приходится выслушивать, что они до последнего момента проживали в неправовом государстве, в чем они все, в той или иной степени, сами виноваты. Разумеется, это сплачивает их в сообщества солидарности, о которых прежде и помышлять было невозможно. Западногерманские огульные упреки встречают столь же всеобщий восточногерманский отпор, а дифференцированный подход в очередной раз размывается между вновь возникшими линиями фронта. По словам Гёльдерлина, «единым быть — божественно и ладно, иначе бы откуда средь людей / стремление к тому, чтоб все и вся едины?» Что это — специфически немецкая проблема? Мы, народ, в который уже раз не способный к скорби, а посему забивающий себе голову непродуктивными контртрезисами? Очернительство сменяется обелительством, и так без конца.

На Западе людям хотелось бы, по возможности, жить, как жили, и посему пришелец воспринимается, как возмутитель установившегося порядка. Западная система ценностей доказала свою жизнеспособность и эффективность и победила в борьбе блоков. Нет, стало быть, никаких оснований думать о переменах. И вот уже успех в настоящем переносится в бесконечность, каковая объявляется завершенной на основе теории «пост-истории».

Самовоспроизводящаяся мегамашина делает утопию излишней. И стоит лишь кому-то о ней заговорить, его тут же заподозрят в наивном романтизме или, того хуже, в тайном тоталитаризме и преднамеренном обмане. Исходя из исторически несостоявшейся коммунистической утопии, выродившейся в бесперспективность реального социализма, делается прямой вывод порочности всякой утопической мысли, каковая, мол, закономерно подменяет реальную жизнь и подчиняет настоящее некоему фиктивному, сомнительному будущему, обещает золотые горы, отказывая в настоящем. Утопия, как преднамеренный обман, как искусственный блуждающий огонь над топью. Не только злоупотребление утопией, но сама утопия — злоупотребление. Милость победителя. Однако таким образом победы могут обернуться поражениями.

Покуда мы констатируем отмену будущего времени — грамматически — верх берет совершенный вид прошедшего времени. Триумф факта: богатое воображение ограничивается лишь тем, что позволяют финансы на завтра и послезавтра. А беспочвенная надежда роется в развалинах былых проектов. Первоначально задуманная на Востоке коллективная справедливость опустилась до репрессивной уравниловки, до администрирования, которые, как нагло утверждалось, якобы опережали человечество на целую эпоху, но реально отбросили его на две назад — в структуру «ансьен режим». А что же на Западе? На том самом Западе, обещавшем Свободу, Равенство, Братство и прокламировавшем свободу Личности? Не опустились ли его горние ценности до уровня несправедливой, зато пестрой свободенки? Не становится ли очевидной несправедливость, коллективно изгоняемая из сознания потреблением? Не обращаем ли мы свои евроцентристские взоры в глобальные измерения? И не стоит ли ввиду всего этого, спросить, не нужна ли нам другая система ценностей?

Ни голое необузданное желание, ни иллюзии, просцирование на вечность, не смогут создать приемлемой идеи. Нужно учитывать факты, а они не слишком радостны. Разделенного и оплачиваемого труда будет все меньше, тем самым во всем мире увеличится объем свободного времени, но это далеко не царство свободы. Обществу свободного времени мерцает на краю света, и солнце этого призрачного мира имеет форму прямоугольника — телеэкран. Времяпрепровождение — вот слово будущего, эмоционально сильное слово: проводить время, как если бы нам его девать некуда, как если бы оно нам было враждебно, невидимый враг, чье агрегатное состояние — пустота, скука, лишенная смысла. Где нет смысла, его нужно внушить; симулировать эмоцию: индустрия свободного времени в качестве суперсоски-пустышки для праздного люда, сытого и пресыщенного, но не накормленного — он,

правда, уже не кричит и не дергается, а тихо сосет себе соску, как будто это материнская грудь.

Вспомним — ГДР была экспортным политтоваром с клеймом «Сделано в СССР», нуждающимся в его защите, и бывшим вассалом и прилежным эпигоном своего сюзерена. Власть верхов в ГДР никогда не была законной, что и привело к паранойе безопасности и к соответствующему, непомерно разросшемуся аппарату безопасности. Жажда преследования и мания преследования, свойственная коммунистам: эту диалектику мании преследования преследователей можно объяснить.

И все же в этой схеме были не только бетоноголовые идеологи, верно служившие как сталинизму, так и постсталинизму — правда, лишь до «барьера» перестройки, от которого они шарахнулись и отказались повиноваться жокею Горбачеву. Были и идеалисты, которые видели конкретную утопию на горизонте человечества скорее во сне, нежели наяву: фата-моргана в реальной социалистической пустыне. Но наряду с ними существовало подавляющее большинство, каковое безо всяких мечтаний пыталось устроить свою жизнь в реальном социалистическом быту, причем даже те, кто отдавал идеологии не более, чем дань должного, восприняли некоторые основополагающие идеи и таким образом невольно стали утопистами.

Немало бывших функционеров уверяют ныне, что у них, дескать, не было другого выбора, однако и в этой немецкой демократической диктатуре всегда имелась возможность для свободы воли индивида. Каждый мог решить для себя: достоинство или карьера — что, однако, означало отказ от проникновения в сферы священной иерархии. Но отказ от чего-либо представлялся и представляется основной массе, очевидно, до сих пор чрезвычайно трудным делом, и не только в бывшей ГДР.

От чего нам не уйти — так это, прежде всего, от вопросов. Самые трудные — те, что находятся вне юридических рамок: вопросы ответственности и морали, вопросы неписаных законов для homo sapiens-а, нравственного контекста писаных законов. Кто соучаствовал, думая, что так надо? Кто соучаствовал больше, чем надо, потому что этого хотел? Кто отказывался, как мог? И что все это значило конкретно для каждого в такое-то время, в таком-то месте и при таких-то обстоятельствах? Кто жертва, а кто только утверждает это? Где проходит граница между пассивным попутчиком и активным преступником? Кого унижали ранее и унижают снова порою те же, только сменившие маску, кто и до того издевался над ним? Кому можно доверить ответы на эти вопросы и, прежде всего, кто за это добровольно возьмется?

Вопросы, столь же необходимые, как проработка новейшей немецкой истории. От этого не уйти, и этого никак не избежать.

И вот я уже пять месяцев сижу над разработкой проекта, который кратко можно назвать «МГБ и литература ГДР», хотя, ей-богу, есть более приятные занятия. Цель проекта — анализ — анализ структуры и содержания этого взаимосплетения. Для достижения этой цели мне приходится читать сохранившиеся «дела» госбезопасности. Это отходы истории, слава Богу, поскольку, в силу имплозии диктатуры политбюрократии, этот примитивный и одновременно коварный язык утратил свой общественный контекст. Однако отходы эти высокотоксичны, а посему при работе с таким материалом рекомендуется носить резиновые перчатки и респираторы.

Могут спросить — зачем вообще этот мазохизм, связанный с копанием в наследии госбезопасности? Осенью 1989 года я тоже был достаточно наивен, надеясь на то, что сограждане, ведшие до того тайную жизнь, после исчезновения своих тылов захотят освободиться ото лжи и шизофрении и сами заявят о себе, сделав таким образом первый шаг: навстречу пострадавшим, которым, возможно, в таком случае было бы легче их простить. Смельчаков, решившихся на это, до сих пор можно пересчитать на пальцах одной руки. Большинство же виновных все еще надеется остаться неузнанным и сваливает тем самым бремя расследования на плечи тех, кто уже нес бремя бесправия. Эти люди плетут легенды и повторяют одни и те же риторические фразы самооправдания — даже когда их раскрыли. Они реагируют, как тот браконьер с битой им косудей на плечах на вопрос лесничего, что это он там несет — в испуге сбрасывает он с плеч косудю, как мерзкого паука, и с отвращением в голосе вопит: Фу, какая гадость! Они утверждают, будто как результат их невинных бесед с госбезопасностью они без их ведома были зачислены в «сексоты», пытаюсь таким образом превратить исключение, действительно связанное с внутригбэшными планами, в нормальное явление. Эти люди говорят, что их всего лишь «доили», они якобы не знали, что всесторонняя «дойка» была одинаковой для всех сексотов.

Ознакомление с документами ГБ необходимо. Нужно дотрогнуться пальцем до раны, чтобы ее вылечить, при этом, однако, вначале неизбежно ощущается боль. Больно открыто называть ранее скрытых стукачей. Они тотально злоупотребляли доверием людей, тайно играли роль судьбы, заключили союз с силой против слабых. И глупому лозунгу «Знание — сила», который висел почти в каждом классе ГДР-овской школы, придали его глубочайшее значение.

Есть, разумеется, люди, заинтересованные в том, чтобы прошлое поросло травой забвения. Громогласно провозглашается молчание, как будто бы люди, настаивающие на исследовании прошлого, провоцируют общественную вражду, как будто бы

именно они гадят в гнездо нации, являясь экстремистским меньшинством, которое садо-мазохистски ковыряется в зияющих ранах. Как будто они не в состоянии трезво ознакомиться с этим наследием и дать ему дифференцированную оценку, как будто их цель не прощение, а месть. Бывшие сопричастные к власти логично заинтересованы в том, чтобы представить немногих уцелевших от осени 1989 года и не желающих допустить, чтобы вообще все было забыто, якобинцами, разезжающими по стране с гильотиной и не испытывающими большей радости, как при виде отрубленных голов. Тот, кто призывает к молчанию, имеет в виду забвение. Тот, кто говорит о забвении, хочет кажущегося мира в забвении, наносящего большой ущерб, поскольку забытое возвращается с еще более разрушительной силой. Тот, кто желает забвения, упускает шанс извлечь урок из прошлого, понять его и сознательно проститься с ним, приобретя тем самым настоящее и будущее. Прощение следует за пониманием и является, стало быть, результатом процесса познания. Из этого следует, что перед тем, как простить, нужно понять, что же прощать. Именно поэтому мы не можем уйти от работы памяти, какой бы неприятной и болезненной она ни была.

Обратимся к литературе ГДР. После того, как государство исчезло, возник вопрос: что от него осталось? Ничего, возопили всезнайки к Западу от Эльбы и уличили критически настроенных авторов к Востоку от Эльбы в утонченном коллаборационизме с государством, партией и цензурой, создавая химеру однородной, порочной литературы ГДР, заидеологизированной литературы.

Утверждающие подобное не видят или не хотят видеть, что эта литература не только в плане формальной эстетики, но и не в последнюю очередь в плане присущей ей морали, была дифференцирована, более того, поляризована. Неужто они не видят, что наряду с литературой, которая исчезнет в преисподней истории вместе с ее идеалами, имеется еще и литература борьбы, сохранившая в годы государственного разделения единство языка и литературы как таковой вопреки границам системы?

Ныне ее упрескают в том, что она цеплялась за фантазмагорическую утопию, в то время, как на практике все давно пришло в упадок, в том, что она верила, что коммунистическое государство возможно без произвола и цензуры, в ошибочном мнении, будто феодально-социалистических властителей можно просветить посредством княжеского воспитания и тем самым исправить положение, в самообмане относительно способности литературы изменить общественный строй.

Все это не так уж и неверно, досадно только, что это недопустимо огрубляется, например, когда литературе ГДР приписывается, будто она была «литературной обличовкой великого уче-

ния», занималась «облитературиванием идеологии» и выдавала «общественную критику в гомеопатических дозах». Кое-кто сознательно и охотно не замечает условий, в которых она создавалась, т.е. централизованной цензуры и повсеместной слежки при правовом и политическом произволе. Там, где слово подвержено такой «опеке», каждое вольное слово становится взрывоопасным. В идеологически закрытых системах каждое слово против становится сопротивлением.

Разумеется, власть цензуры и общественное значение литературы взаимообусловлены. Для последней это оказалось роковым, поскольку взрывоопасность придала ей чуждую по сути политическую значимость и заставила ее пойти на ухищрения, т.е. писать между строк, в силу чего эстетика перестала соответствовать требованиям времени, формы сопротивления все более устаревали. Читатели же, как показала осень 1989 года, питали гораздо меньше иллюзий и были радикальнее своих писателей.

Литература ГДР — это история иллюзий и принуждения. Что от нее останется? Один западногерманский суперкритик (из старой ФРГ) сравнил всех тех, кто изучает ее наследие, с теми, кто ищет цветочки после лесного пожара.

Осень 1989 года давным-давно миновала, и порою кажется, что ее не было вовсе. Революционный порыв захлебнулся собственной пеной, и его импульс, т.е. моральный гнев, с некоторых пор кажется жутко старомодным и выливается ныне в защитную издевку. Сцена, бывшая трибуналом, уступила место сатире.

Постреволюционные времена — постмодерновая эстетика. Новые времена — все возможно. Или все же — ставок больше нет? Все и ничего вместе — блеющие волки, рычащие овцы, вороны поют, а соловьи каркают.

В 1984 году я назвал один свой рассказ «Между стульями». Ситуация не изменилась. Поменялись только стулья.

Элке ЭРБ

Стихотворец и доносчик

Тема, которую мне хотелось здесь затронуть, в моей формулировке называлась: Стихотворец, бывший доносчиком. Во время телефонного разговора на другом конце провода возникло: Писатель — доносчик. Поэтому вначале я выскажусь по этой версии темы. Эта версия, начиная с лета 1991 года, во все большей мере оказывалась в центре внимания в Германии, ее значение не ослабевает и по сей день. Своего пика она достигла осенью 1991 года и звучала до начала 1992 года. Тогда речь шла об одном писателе, поэте Саше Андерсоне. Говорили не столько о его поэтическом творчестве, сколько о мульти-медиальной художественной атмосфере района Пренцлауер Берг. В этом районе Восточного Берлина, начиная с конца 70-х годов, сконцентрировалось молодое самостоятельно поколение литераторов, художников и музыкантов, которое своей независимостью, даже изоляцией от официального искусствопроизводства, а также своими модернистскими произведениями, выступлениями и мышлением представляло не только сходные течения в других городах страны, но и вообще выход молодой интеллигенции из закостеневшей системы. Вполне понятный интерес на Западе к этому явлению за «железным занавесом» сыграл большую роль в создании понятия «Пренцлауер Берг»; нежели, по-моему, оно было воспринимается самими реальными действующими лицами. Андерсон не только принадлежал к его наиболее видным художникам, он был центральной фигурой, на которую ориентировались другие, в том числе и потому, что он неустанно что-то организовывал: выступления музыкальных групп, литературные чтения в церквях, выставки, мульти-медиальные представления, серии публикаций, объединивших литературу и изобразительное искусство. Таким образом, он стал символической фигурой альтернативного острова в ГДР. Когда же начали говорить о том, что именно он являлся секретным сотрудником «штази», эффект был, как будто разорвалась бомба.

Насыщенность и продолжительность последовавших дебатов имеют целый ряд специфических и неспецифических причин. К неспецифическим, в широком смысле слова, относится тот факт, что обвинение против Андерсона натолкнулось на целый фронт сопротивления против демонтажа всего того, что имело ценность в ГДР. Как если бы ничего этого не было. Затем эта тема, в фокусе

которой находился Андерсон, начала разгораться благодаря настойчивости, с которой средства информации сообщали и, вероятно, собирали доказательства его доносительской деятельности. Первые утверждения основывались на случайно найденных документах. В самом деле, имелись папки с документами в частных руках, спасенные от уничтожения из архивов «штази» борцами за гражданские права, а папок таких в архивах насчитывались километры полок. Задержка в предъявлении доказательств была обусловлена тем, что орган, задача которого состояла бы в разборе дел «штази» и предоставлении их пострадавшим нужно было сначала основать. Тема «Андерсон» была связана с этой проблемой. Осенью 1991 года Юрген Фукс, диссидент и писатель, изгнанный в 1977 году после 9 месяцев заключения из страны, опубликовал в журнале «Шпигель» существенные моменты деятельности «штази». Они показали комплекс разрушительных, разлагающих методов, направленных на уничтожение живого сопротивления в стране, на сведение его на тот уровень, который не мешал бы жизнеразрушительной системе оставаться нетронутой в ее наглой и искусственно поддерживаемой тупости. Предание гласности этих подлых методов сопровождалось, однако, некоего рода демонизацией, которая, разумеется, лишь нагнеталась средствами массовой информации, стремящимися к сенсации. Эта демонизация привела и к раздуванию темы Андерсона.

Размах, который приобрела эта тема, привел к некоей диспропорции, поскольку в силу этого остались незатронутыми более важные темы, например, партийный и правительственный аппарат. Моральные упреки уместны лишь там, где ставится под вопрос сама мораль. Властьмущих в области морали не достать, поскольку они ретировались в область намерений. Таким образом обвинение предъявляется тем, кого можно «достать». Тот факт, что два важнейших представителя Пренцлауер Берга (вторым был поэт и теоретик Райнер Шедлински) оказались доносчиками, требовал объяснений, именно потому, что они были не только доносчиками. Несомненно, внутри политической оппозиции было гораздо больше стукачей, чем в среде искусства. Здесь однако разоблаченный воспринимается как ошибка и выпадает тем самым из дальнейшего обсуждения. По крайней мере, его трудно тематизировать или объяснить. Если же это художник, то всегда есть за что ухватиться. В отличие от политического оппозиционера художник должен не вырабатывать свою концепцию, а осуществлять ее, точнее: то, что он реализует в своем произведении, и есть его концепция. Андерсон и Шедлински доносили, однако, не только на художников, но и на представителей политической оппозиции. Обе эти группы оказывали сопротивление цензурскому надзору режима власти.

Их разделяли, с одной стороны, неизбежная зависимость оппозиции от структур мышления, с которыми она боролась, а с другой стороны, привычная непонятность модернизма. Видная правозащитница Бэрбель Болай с горечью жаловалась на то, что литераторы-оппозиционеры отмалчивались. Становится понятно, насколько велико было разочарование в Андерсоне и Шелдински. В ноябре 1991 года Бэрбель Болай писала: «Тот, кто не приходит в отчаяние от того, что отцы семейств несут ответственность за Освенцим, а поэты смогли стать стукачами, тот не придет в отчаяние никогда».

Когда же за поэтом вырос доносчик, то взоры всех обратились к доносчику и отвратились от поэта. Некоторые не смогли этого сделать, поскольку они верили лишь поэту. Другие, не верившие поэту, потому что они его не понимали, нашли утешение в том, что могли, наконец, сказать, кто он: доносчик. Среди таковых находились и поэты, не имевшие признания и уверенности в себе, каковые приписал себе падший ангел. «Он не мог меня признать, именно потому, что он стукач», — говорила одна поэтесса, постоянной темой которой был оргазм. «Он посредственный поэт, но писал замечательную доносительскую прозу», — говорил один бард из последователей Бирмана. «Он был потому герметичен, что скрывал то, что он делал», — говорил просвещенный сатирик из Тюрингии. И поскольку имя Андерсона символизировало художественную среду Пренцлауер Берг, то дошло до того, что был вывинут тезис, что он, мол, весь Пренцлауер Берг, или по меньшей мере его авангард, был симулирован «штази» с целью отвлечь творческое молодое поколение от политики. Одна газета сформулировала диллему следующим образом: «Мы считаем возможным, что поэт может быть убийцей своей матери, но видеть его в роли рабского доносчика для нас невыносимо».

Я находилась в сильном напряжении, по крайней мере до тех пор, пока не убедилась в доносительстве Андерсона. С одной стороны, мне нужно было быть готовой к этому, с другой стороны, мне приходилось вести себя соответственно непривычной мне гражданской норме, которую все вокруг то и дело нарушали. Почему, собственно, гражданину не верят, что он честен, пока не доказано противоположное? Если Андерсон разговаривал со «штази» (в чем он и признался), значит ли это, что он уже сам «штази»? Я видела в этом возврат просвещенного человека к магическому мышлению: кто прикоснулся ко злу, должен в него впасть. Андерсон оспаривал свою доносительскую деятельность до тех пор, пока его не перестали об этом спрашивать. Он считал, что никому не повредил, считал, что «штази» неэффективна. О его трех кличках ему якобы ничего неизвестно, а информация, которую мог дать только он, подслушана по телефону или пере-

дана для записи в дело кем-то другим. Его разговоры со «штази» имели форму допросов. Рассказывал он якобы только то, что, по его мнению, им и так было известно. Его исходная и принципиальная линия состояла в том, чтобы отключить политику в вопросах следователей посредством культурологического уровня своих ответов. Возможность этой версии, по-моему, настолько же понятна, как непостижима ее протиположность.

С тех пор мне удалось просмотреть достаточно дел, чтобы не строить предположений и не сомневаться. Он информировал «штази» о людях и их действиях, о выставках, чтениях, текстах, высказываниях, проектах и связях внутри ГДР и с Западной Германией. Он передавал данные ему на сохранение тексты и магнитофонные записи. Он сообщал о сборе подписей. Он подробно сообщал даже о таких акциях и публикациях, в которых сам принимал активнейшее участие или был даже инициатором таких. Он занимался слежкой активно, и только о высказываниях на допросах и речи быть не может. Явными доносами были в особенности его сообщения о политической оппозиции, т. е. о тех кругах, к которым он сам не относился. Он работал и по заданию и по собственной воле — как слуга.

В начале все было иначе. Существует стратегический документ 1982 года на 43 страницах, касающийся интеграции так называемой литературы «андерграунда» в официальную культуру, в котором имеются, например, соображения, каких авторов можно бы принять в Союз писателей в качестве «активных и равноправных членов». Очевидно, что он пытался уговорить товарищей признать молодое поколение. Он не подтвердил их версии о том, что никто в ГДР не может отличаться от партийцев, если он не находится под влиянием врага. Старания Андерсона были напрасны. Осталось послушание доносчика. Правда, по словам одного из сотрудников «штази», Андерсон и Шедлински причислялись к враждебно-негативно настроенным неофициальным сотрудникам: «Соответственно использовались и методы работы с ними: нажим и шантаж. Это часто действовало. Конечно, в зависимости от характера». Шедлински чуть не плакал, Андерсон нагло улыбался.

Вся эта информация не объясняет ничего, так нельзя братья за тему «писатель — доносчик», поскольку в доносчике растворился писатель. Поэтому я обращаюсь к моей первоначальной теме: «Стихотворец, бывший доносчиком». В этой формулировке не сказано: поэт, который на самом деле не поэт, а стукач. Вполне возможно, что меня больше не интересует поэт, ставший стукачом, однако в вопросе, поэт он или нет, решающими являються другие категории. Когда в конце 70-х годов я прочла толстую папку неопубликованных текстов Андерсона, я увидела, что его слог чист и последователен вплоть до звучания, вплоть до отдель-

ного звука. Позже мне стало понятно, что это-то и является одной из важнейших предпосылок поэтического произведения: более или менее ограниченный набор средств при наличии импульса к творчеству. С миром форм можно тогда успешно бороться, когда для этого найдено подходящее сему средство. Вероятно, найти его можно тогда, когда определенный дефицит создает напряжение. Эти условия суть неосознанные предпосылки, они действуют подспудно, но от качества их действия несомненно зависит, состоится ли поэтическое произведение, или нет. Предположительно, поэзия суть результат этого действия.

Первые книги Андерсона вышли еще до его лишения гражданства в 1986 году в Западном Берлине. Я прочту вам одно стихотворение из первой книги:

*это наверняка лишь сон на бойне
не умирают мотыльки или у них
глаза могущие стать камнем если
они кончаются сомнительными за*

*явлениями что черен блюз черный
как в середине сказок из которых
буква «X»* знак абсолютный моего
поколения вздымается на пупови*

не чтобы сломаться как безоста

*точные сны джон леннон тайну
не привязал к крюку коптильни цепью
так ему конец счастливый отдален
как слово от слова осенью одно кры*

*ло от другого в блюзе чернота
от другой а это точно только сон
в котором ночь лик пиковой дамы
играет ее тело все же покрыто су*

мерками так похожи друг на дру

*га как одно яйцо на другое как
одно имя на другое на этих всех
досках почета что как капли из*

* (Латинская буква «X» представляет собой не только форму креста, но и используется в немецком языке в словах, означающих «какой-угодно», «бесчисленное количество раз», «перечеркнуть». Прим. перев.).

разбитых символов ползут за бук

*вой буква слово за слово крыло
за крыло осень за осень мотыльки
под блестящей булавкой времени
в стеклянной витрине здесь их раз*

битые глаза зияют запудренные ра

*ны напоказ как их ни назови что
шульц что память о чикаго розочка
красная вот вам символы на чьей
могиле головы наши обнажим гер-*

*мания или сон который следующий
день толкует для над или подписей
которыми мы покупаем репродукции
для наших чад с названьями павлин*

ий глаз олеандровый бражник ласт

Индивидуальная констелляция начала письма и процесса письма наталкивается более или менее продуктивно, на общественную ориентацию. Это еще один момент, делающий из человека поэта. У Андерсона читаем:

немецкий текст, прежде всего прусский, а также текст «Солдат и война», далее (на неясном семейном фоне еврейской судьбы и русского происхождения) текст «Проигранная революция» (утренняя заря) и, типичный для этого поколения, текст о никчемной, пережившей себя цивилизации. Две цитаты из поэмы «Эротика стервятников»:

*1) вот зелень в конце
войны, даже
зелень падали не выпадает
из образа.
ясно лишь, что я мечусь
во плоти. У
умирающего отниму
последнее.
прости мне, сын,
посев этого урожая, ведь
смерти камуфляж
есть голод.*

*что это, то
что остается, лежат на поле
кости белые зимы —
разбитые орудия.*

- 2) *наши отцы одна партия.
мать пишет и пишет в
дневник с золотым замком.
пишет своим сестрам в
гамбург и ревель письма.
в письмах своих говорит каждой
из сестер, будто она от другой
получила письмо, вот
тайна ее дневника: иисус
христос секретными службами
из ее супруга выбит
был.
«остались лишь сучьи слова,
как удары топора
меж взлетающими
птицами
и падающими листьями».*

Во второй половине 80-х годов его тексты отражают тяготы личного опыта: тюремные истории жестокости, слабости, садизма и сексуального принуждения стали метафорой жизни.

Даже после разоблачения Андерсона как доносчика, тексты его, при новом прочтении, не стали безудержной ложью. Они даже как бы приобрели большее значение, порочный фон отработан многогранно. Когда меня попросили сделать доклад на этом заседании, я решила все раз основательно прочесть эти тексты, чтобы проверить мое изменившееся восприятие, зная факты. Вскоре появилась психоаналитическая интерпретация, насколько она возможна для неспециалиста. Исходя из повторов определенных сочетаний, стал напрашиваться термин анальной эротики, причем не столько в специфических анально-эротических образах, частота и ясность которых увеличивалась особенно в тюремных текстах, сколько в таких формулировках, которые описывали некое событие, как возвращение или смерть одного человека за спиной другого. Именно эти места казались мне ранее метафорами безбудущности. И тут я упрекнула себя в том, что потребляла лишь образы политического состояния и была слепа относительно личной беды, бывшей источником создания этих образов. Потому что при дальнейшем чтении становилось все очевиднее, что нечто ужасающее, пережитое в беспомощности детства, какая-то травма в

текстах, несмотря на их актуальную ориентацию, скрывало и одновременно побуждало к выходу и выражению.

**ТЫ БУДЕШЬ
СЛЕДУЮЩИМ
И В ПУТИ ОБРАТНОМ ТВОЕГО ОТЦА
КОНЧАЕТСЯ КАЖДЫЙ ДАЛЬНЕЙШИЙ ШАГ В ОДНОМ
ПОКИНУТОМ ВОТ ТОЛЬКО САПОГЕ.**

Застой, как переживание страха. Несколько лет ранее было написано:

*... белая птица ноябрь т / анцует на неделях и я боюсь ч / то
она в один февральский день все возвра / тит чтоб вновь весной
назвать ...*

В другом тексте, по времени между двумя предыдущими, я прочла: *«так стал ребенок ребенком в мальчике, и мальчик ребенком в мужчине, и мужчина ребенком в солдате, и солдат ребенком в убитом солдате, и убитый солдат в могиле, и могила в политике, и политика в стихе, и он функционирует. / но не только мальчик носит чересчур большие сапоги, но и земля носит мальчика».*

Это маленькое, не очень уж надежное подбадривание в конце стиха, относится к редким отдушинам в этом роковом тексте, который уже сам все больше и больше выходит из-под контроля. Сравните пассаж из «Эротики стервятников» (вышедшей в 1984 году в томике «Лесная машина») со стихотворением «Тридцатое февраля» из сборника «Колодец, полный до краев» 1988 года:

*я вспоминаю те
рисунки, черные люди
с белыми рогами черные
люди с белыми копьями
черные люди с белыми
сердцами черные люди с белыми
руками черные люди по лестнице
вверх, люди
у колодцев стоявшие, в
горизонте бежавшие, на картинах сгоравшие.*

ТРИДЦАТОЕ ФЕВРАЛЯ

*еще я думаю дойти до дня такого,
что, человеческим сравнением незагружен,
мне кости свои смертные протянет.*

А ПОСЛЕ БИТВЫ СПОР МУЖИКОВ ПОШЕЛ ОБ ЭТОМ

**ПЛОДНОСЯЩЕМ ПОЛЕ, ПЛОТЬ
ВОССТАЛА ХЛЕБОМ. ГОЛОДНЫЕ ЖЕЛАНЬЕ УТОЛИЛИ.**
*тебя, нётронутый мой труд дневной,
на два дня расписал, твоими*

*пусть сыновьями будут, все едино
что пахарь, что солдат иль оба вместе.
мне кажется кустарник над землей
объятья нашего он стал отображеньем,
пустивши корни в дне, в который никаких
событий не было, остался безымянным*

С развитием структуры стиха все яснее проступают контуры травмы, изначального счага конфликта, что, однако, не предполагает его решения. В любом случае я не вижу выхода за заданные границы, но не вижу и отказа, ослабления напряжения. Не уверена, что я это вижу правильно. Перемены легче вспомнить, чем предвидеть.

В связи с вопросом: Как может быть совместно творчество этого поэта с тем фактом, что он был доносчиком? — я прихожу к следующим выводам: во-первых: в основе всего имеется травма, которая для него страшнее всего комплекса его связи со «штази». К тому же следует иметь в виду, что «штази», как и все государственные ведомства с их искусственной или истинной глупостью, создала ауру тоскливейшей ничтожности. В тоске послушание доносчика репродуцировало травму на стороне безвластных. Поскольку скрытый, но принуждающий к действию травматический конфликт — привод в том числе и культурно-коллективистского акционизма Андерсона — понуждает его к языковой продуктивности, ведет к успеху, то он теряет ту сосредоточенность в нужде, которая оберегает несчастного от порока. Успех лишает табу его власти. Самое экзистенциально честное, что им было сказано о его связях с «штази», были слова: «Всякий раз это было гнусно». Насколько действенна и сковывающа эта травма можно судить по ответу в интервью от 10-го января 1992 года, в котором Андерсон на вопрос, не собирается ли он покинуть Германию, сказал: «Я никогда не бегу от проблем. Наоборот, эти проблемы настолько меня парализуют, что я не могу даже бежать».

Анатолий ПРИСТАВКИН

Об анкетах, и не только о них

Сказать откровенно, взявшись рассуждать на тему, такую всеобъемлющую, как КГБ, я могу показаться полнейшим дилетантом, а мои личные наблюдения очень скромны и очерчены кругом почти житейским.

Озирая свою долгую жизнь, я обнаруживаю вдруг с немалым удивлением, что эта всепроникающая, как радиация, и настолько же смертельно опасная организация, невидимая, без запаха и цвета, сопровождает меня чуть ли не с пеленок. Мы все ею в большей или меньшей степени облучены, и клетки наши — это клетки мутантов, не ведающих до сих пор какой над нами проводился, да и нынче, наверное, проводится повседневный опыт глобального контроля: и за нашими делами и за нашими мозгами.

В какой-то момент жизни я, человек по характеру легковёрный, наивный, общительный, открыл вдруг, что мой закадычный ротный дружок по фамилии Грачев, с которым я делился и хлебом, и стихами, теми, что пишутся только для себя, является сотрудником этих самых органов. Узнал много позже, когда демобилизовался, женился и прожил в Москве, а он вдруг объявился из своего родного Брянска и почему-то предъявил при входе ко мне в дом фотографию, на которой я писал ему слова о верной, бескорыстной и вечной дружбе. Наверное, этот жест означал вот что: раз уж клялся в вечной дружбе, то и принимай! И я, конечно, принял. И почти сразу выяснилось, да он и не скрывал, что возглавляет ныне Брянское областное управление органов безопасности, а в Москву приехал сдавать зачеты в институт... Есть для них, оказывается, такой институт, я тогда и не знал об этом.

Мы посидели, поговорили, его в первую очередь интересовал Солженицын и его книги, об этом тогда уже предпочтительнее было не говорить, но я сказал то, что думал: что это замечательный писатель, жаль что книг его у меня нет, хотя они у меня, конечно, были.

В свою очередь я спросил наивно, а что же он, Грачев, и там, в армии, ну, когда мы вместе служили, тоже был этим... Я не знал, как назвать... «Служащим», что ли... И он, немного удивляясь моему вопросу, отвечал: «Ну конечно, кто-то же должен был вас контролировать... Проверять!»

Он несколько не сомневался, что и я тоже должен думать так же, ведь и правда, как это мы могли бы жить без ИХ КОНТРОЛЯ?

— И мои стихи? — спросил я, но я уже знал, каков будет ответ.

— И стихи. И прозу. И анекдоты... — сказал он.

— И — письма? Ну, те, помнишь, от девушки, которые я тебе читал?

Он пожал плечами. Писем он не помнил, но, возможно, и они фигурировали как характеристика моего морального облика в его отчетах. А отчеты он писал раз в месяц, подробные, на каждого из нас.

— Что же все-таки ты писал? — спросил я прямо.

Он замялся. Он не стыдился своей бывшей и нынешней работы, но я, кажется, вторгался в область, которая во все времена была, наверное, тайное тайных. Но ведь было ясно, что момент доношительства сыграл основную роль в его карьере, и он уже дослужился до майора.

Он не без легкой досады повторял, что выполнял свой долг и сообщал лишь факты, а настроение в роте — это ли не важно, когда нам противостоят американцы!

— Помнишь Антошкина? — спросил вдруг он. — Ну, такой неряха, поддавала и болтун... Он ведь из Брянска, и тут тоже гуляет, пьет... Ведет аморальный образ жизни... Пришлось вызвать, предупредить... А как же иначе! Сегодня алкоголь, а завтра за бутылку и страну продаст!

Из разговора я понял тогда одно: Грачев был искренне уверен, что он просто обязан все контролировать, даже нашу домашнюю жизнь. Прямо как в песенке: «Сегодня парень водку пьет, а завтра планы продает родного советского завода...». И возможно, пребывая у меня в доме, он не просто со мной выпивал, но одновременно опять, как прежде, контролировал, теперь уже мою гражданскую жизнь, и проверял.

Помню, что обстановочка за столом в какой-то момент стала натянута, хотя моя жена, упустившая за готовкой на кухне всю главную часть нашей беседы, продолжала потчевать странного гостя, а потом стала хвалиться тем, что мы достали по знакомству фотографию Солженицына: на скамеечке в саду на даче Корнея Чуковского. Я силился глазами остановить ее, но мои усилия заметила не она, а он. И тогда он вдруг заторопился. Так мы расстались. Я вспомнил и подробно описал тот визит лишь потому, что это было для меня откровением: солдатик, но — топтун, стукач, дружок, с которым водой не разольешь, но — и информатор, и соглядатай... Один из лучших, таких своих ребят в роте, но — и жесткий, убежденный надсмотрщик за нашими неопытными душами... Господи, а остальные? Кто же они были тогда?

Была такая шуточная считалочка: «А» и «Б» сидели на трубе, «А» — болтало и пропало, «Б» работал в КГБ». По-видимому, подразумевалось, что если ты «А» и с кем-то беседеешь, то этот второй уже неминуемо может или даже должен оказаться тем самым «Б». И страшно, наверное, не то, что он куда-то что-то доложит (что особенного можно о нас доложить, чего бы они не знали?), а сам факт подозрения, что в любом собеседнике возможен информатор, который интимную беседу, как нежный цветок, передаст в другие, скорее всего нечистые руки.

Вот недавно в Германии, в министерстве юстиции коснулись такой злободневной и для них (для них тоже!) темы, как стукачи из Восточной Германии — «штази»: каково им после их выявления и как их выявление отразилось на моральном климате в жизни страны.

Разговор был жаркий, долгий; на нем присутствовал замечательный поэт Булат Окуджава, он не спорил, не горячился, а что-то набросал на бумажке, и получились на эту тему стихи. Они не опубликованы, но я рискну их зачитать, тем более они нам как бы подарены, и еще замечу, что взгляд поэта всегда обнажает то скрытое, до чего мы можем докапываться долго.

*Обсуждали донос и стукачество
И сошлись между прочим на том,
Что и здесь обязательно качество
И порядок — а совесть потом.*

*Что и в этом позорном явлении,
Кто и что бы о том ни орал,
Как в классическом произведении
Есть завязка и взлет, и финал.*

*Что и эти гримасы печальные
Очень много столетий в ходу,
А законы профессиональные
С дилетантством всегда не в ладу.*

*Информаторы тоже ведь люди.
Эту суть уяснив наяву,
Приумолкли достойные судьи
И посыпали пеплом главу.*

«О чем сегодня говорили на закрытом партсобрании?» — спросила моя приятельница однажды мужа. А он в шутку ответил: «Такие секреты доверяются лишь в постели», — как бы прирав-

нивая партийную тайну к любви, что означало и обратную связь: происходящее в постели между женой и мужем — то, что на самом деле и составляет величайшую тайну двух любящих людей, — может и (должно быть) достойным общественности и ее главного контролирующего органа — КГБ. Мне не так уже давно позвонил один коллега и приятель, он хороший литератор и довольно пробивной человек, и вот он пробился к своим архивам там, в КГБ, и был поражен, что женщина, с которой он прожил много лет и которая была фактически его женой, была по совместительству еще и информатором... Каково? А вот другой мой знакомый, его дальний родственник, решив развестись, запрашивал партком о разрешении на этот важный в его жизни шаг... А партком, наверное, заглядывал в его анкетку: как он там, «свой» или «не свой»... Своим-то, наверное, разрешалось, у них измена жене не приводила к измене родине!

А анкетку-то готовил кадровик, должность везде и всегда причастная к органам безопасности.

В четырнадцать лет пришел я в первый в моей жизни отдел кадров одного сверхсекретного института, он располагался в г. Жуковском под Москвой. Моложавый, рыжеватый с красной налитой шеей кадровик вручил нам кучу бумаг и попросил их тщательно заполнить. Вопросов было очень много, и некоторые вызывали у нас недоумение или улыбку. Ну, как, например, отвечать на такой из них: «участвовали ли вы или ваши ближайшие родственники в Белой армии, состояли ли в оппозиционных партиях, были ли на оккупированных фашистами землях» и так далее. Помню, мы забавлялись тем, что отвечали, как нам казалось, ужасно остроумно: «В Белой армии не воевал, потому что я тогда еще не родился...» И правда, о каком участии могла идти речь, если даже моему отцу (а это же видно по анкете!), было в те времена семь лет!

Но кадровик нашего юмора не принял, и приказал переписать все, уже на отдельном листе, он прочтет и скажет, правильно написано или нет, а писать-то, кстати, надо полным текстом, а просто «Да» и «Нет» — нельзя, т.е. в Белой армии, а также в войсках интервентов ни я, ни мои ближайшие родственники не служили, в партии меньшевиков и эсеров не состояли и т.д. «Так и писать?» — спрашивали мы, прихихикивая, мы были глупы тогда, очень глупы.

— Рановато смеетесь, как бы не пришлось потом плакать, — вдруг произнес кадровик, и в глазах его мы увидели непонятную уверенность, даже угрозу, которую мы, глупыши, желторотые птенцы, вступающие только в жизнь, по-настоящему оценить еще не могли. Но, помню, что анкетками мы занимались уже всерьез, и я много тогда узнал нового обо всех родственниках отца и матери

— и что они все делали, и кто из них, не дай Бог, мог оказаться в немецком плену, ведь жили-то они на смоленщине... А бабка моя как раз жила в смоленской деревне и там и померла в лесу, когда ее деревню сожгли... Я все по-честному написал в анкете — и про бабку, и про деда и отцовских братьев, кроме одного: дяди Викентия, которого раскулачили, у него отобрали единственную лошадь, он «вышел замуж» за женщину из соседнего хутора, то есть подался в примачи, а значит, у него была фамилия жены, и он в мою анкету уже не попадал.

Через несколько лет, когда я попал под «сокращение», я и не ведал, что виной тому оказалась моя оккупированная бабка, которую я едва помнил. А вот у одного из моих приятелей, еврея, родственник оказался в Канаде, которого, правда, он не знал, и его тоже поперли в тот самый 49-й год, когда боролись с космополитами и здорово «чистили» наши анкеты.

Кстати, допуск на работу нам не давали месяца два, и мы, наведываясь к кадровику, только видели его неприглядный стеклянный взгляд и слышали ответ: «Ваши документы (так он делал ударение) еще не пришли».

Я и до сих пор не знаю, что они делали с нашими анкетами, неужто и правда копались в только начинающих жизнях и что-то выискивали? Но что можно было тогда в нас найти?

С тех давних пор некоторые словечки сопровождают нас до сих пор: «допуск», «анкета», «характеристика» или «объективка»... Да, много, очень много таких слов, значение которых я никак не могу до конца понять.

О Господи, вступая на порог этого мира, мы еще не догадывались, что мы давно, со времен наших отцов и дедов, у них там на учете, ибо вписаны по анкетам (таким же!) отца или матери, а в наши анкеты таким же образом попадут наши дети, а может быть, внуки... Мы как бы скреплены единой цепью анкет, как скованы рабы, и эту цепь никак невозможно порвать, если ты, конечно, не хочешь нанести в этой цепочке кому-то ущерб... Себе или всем остальным.

А вот уж на прошлой неделе моя знакомая, заполняя анкету на работе, изумилась вопросам, не тем же, но очень похожим, и она лишь не знала деревни, ее давно снесли, где родилась ее мать, и где могила ее отца... «Должны знать» — сказали ей строго из кадров, и она рыла землю, как я когда-то, чтобы проинформировать поточнее кадры (но только ли кадры?) о себе самой. А ведь по сути, анкета — это еще и добровольный по сути донос на себя...

А я так пресмыкнулся благодарен своему первому кадровику, он не выместил, скорей всего из-за лени, на нас своей злобы и допустил меня к работе, а значит, дал возможность кормиться. И жить.

Так вот кто нас кормит! Нас кормит наш родной КГБ — и это

ли не вывернутое наизнанку сознание, лично мое, но и любого другого подобного мне человека?

У меня дома хранится фотография в память об одной поездке в Воркуту, где я выступил перед молодыми талантами из местного театра ТЮЗ, такие замечательные лица ребят, какие бывают только в пятнадцать—шестнадцать лет. Но вот какая история: на встрече с этим театром мне задали вопрос о Солженицыне, вообще нашей литературе, и я, не умея скрыть, поведал правду, которую нельзя был тогда произносить. Но Воркута, как выяснилось, город особо режимный, и власти строго держали здешний рабочий класс в кулаке. Ни радио, ни телевидение сюда в ту пору не доходили. Результатом моего выступления стало расследование органов безопасности о подрыве — конечно же, идеологическом — нашего строя, меня из Воркуты изгнали, а дома, уже в Москве, начали гонять по организациям, и в первую очередь, конечно, меня вызвал Рабочий секретарь (он же бывший генерал КГБ) Ильин и попросил написать объяснительную... В папочке у него лежали пять или шесть доносов на меня, написанных молодыми ребятами из ТЮЗа.

Последовала жесточайшая кара, меня отключили на целых десять лет от литературы, и пришлось мне с двумя малыми детишками перебиваться кое-как, и даже на время уехать в Балаково, где меня никто не знал. А за границу милая наша кадровичка из Союза писателей, ее звали Таисия Ивановна, и она очень мне всегда сочувствовала, как мне казалось, меня не выпускали аж до 50 лет, и каждый раз, когда я начинал было возмущаться, сперва, потом-то я привык, она обычно говорила: «Только не шуми! Не шуми! Потом поедешь». И надо было придти другому человеку на ее место, милой девочке Наташе, которая ничего обо мне не ведала, и потому она пошла к Феликсу Кузнецову, тогдашнему секретарю, и впрямую спросила: «Ну а почему ему нельзя?» Тот пожал плечами, так мне рассказывали, набрал нужный номер, я думаю, тут была прямая связь, и ОТТУДА произнесли: «Но у него напротив фамилии галочка стоит...» «Галочка», ясно, была после Воркуты, а может, и после отъезда за границу дружка моей юности Анатолия Кузнецова — это был, по тем годам, большой криминал. — Ведь мог знать, но не доложил, — так было произнесено на собрании в Доме писателей.

А вот молодые ребята из ТЮЗа доложили сразу, у меня дома хранятся их доносы... Наверное интересно опубликовать их — без фамилий, конечно, и эту замечательную с чистыми светлыми лицами фотографию, пусть читатель сам попробует догадаться, кто же из этих красивых ребят меня порешил, надолго выключив из жизни и литературы.

У них теперь дети такого же, какими тогда они были сами, возраста — ощущают ли они хоть какую-нибудь вину? Или они тоже ответят, что выполняли свой долг, как выполнял его Грачев, а еще ранее Павлик Морозов, и никакого внутреннего стыда или раскаяния они не ощущают?

Могу лишь предположить, что скорей всего — второе, и потому лишь, чтобы не отчаиваться, я не публикую фотографию и не пишу им письма. Они в какой-то мере тоже жертвы, как и я, этой системы доносов, которая много столетий в ходу, и еще небезызвестный Котошихин, описывая царский двор в XVII веке (!), говорил, что если тебя схватят с оружием или просто, то начнут пытать, а зачем ты шел и кого хотел убить, и того, на кого ты укажешь, тоже схватят и тоже будут пытать, чтобы они указали на других, и тех будут пытать, чтобы указали на третьих, на четвертых и на пятых, а потом всех разом и казнят! А детей, говорит там же Котошихин, не велят пускать в другие страны, чтобы, набравшись вольностей, не привозили бы их домой, а если кто едет по службе, то жену велят оставлять дома, чтобы там не задерживался, а непременно возвращался бы обратно...

Сам же Котошихин, напомним для урока, был наказан, хоть работал в иностранном приказе, вроде нашего МИДа, — он отказался писать донос на одного из князей по приказу другого князя и вследствие этого вынужден был бежать в Швецию...

Вроде бы поучительно, но мы ведь ничему не научились. Ни тогда, ни сейчас, ибо слежка за человеком, любым, но творческим особенно, вечна и неистребима, как Кощей бессмертный. Я бы зримо представил всю систему наподобие исходящей из одного центра грибницы, которая тончайшими невидимыми нитями простирается по всему лесу под тонкой листовенной подстилкой, чтобы в одно благоприятное для нее время прорасти и усыпать все живое пространство ядовитыми шляпками грибов... И они уже прорастают.

Вот недавно, всего месяца два—три назад, в наших отделах кадров снова появилась секретная инструкция (не иначе, как привет от моего бывшего дружка Грачева, который дослужился до генерала) № 1025-69, очень напоминающая анкеты моей юности, по которой каждому из нас вменяется называть свою национальность, говорить о судимости ближайших родственников и месте их проживания, особенно, если они находятся за границей, и о тех родственниках, которые туда выезжают, и немедленно докладывать об этом в режимно-секретный орган (PCO).

Кстати, есть там пункт о том, что необходимо немедленно сообщать в этот самый режимно-секретный орган, который безусловно является одним из подразделений органов безопасности, о внеслужбных связях с иностранцами. О связях на службе, по-ви-

димому, доложат другие. Так что уважаемых гостей нашего заседания, приехавших из других стран, я прошу не забывать после заседания вручить мне визитки, чтобы я мог наиболее полно доложить куда следует о моем контакте с ними.

Наши авторы

Александр Борщаговский — родился в 1913 г. Окончил Киевский театральный институт. Писатель. Автор ряда романов и рассказов о преследовании еврейской интеллигенции во время сталинизма. Живет в Москве.

Матиас Браун — родился в 1949 г. Литературовед и театровед. Долгие годы научный сотрудник архива Бертольда Брехта АН. Преподаватель Свободного университета Берлина. Научный сотрудник отдела образования ведомства «Гаука». Живет в Берлине.

Иоахим Вальтер — родился в 1943 г. Писатель. Автор прозаических, драматических, детских произведений. Инициатор исследовательского проекта при ведомстве «Гаука» (отдел образования) «Литература ГДР и госбезопасность». Живет в Берлине.

Александр Даниэль — родился в 1951 г. Математик. В 1970 — начале 80-х — редактор самиздатских журналов. С 1988 — работает в обществе «Мемориал», где сейчас руководит исследовательской программой «История диссидентского движения в СССР», член Правления международного общества «Мемориал»

Дёрдь Дялош — родился в 1943 г. Окончил исторический факультет МГУ. Писатель, автор книг, издававшихся в Германии и Венгрии. В России в 1992 г. в издательстве «Текст» вышел его роман «Тысяча девятысот восемьдесят пятый». Живет в Вене и Будапеште.

Ефим Эткинд — родился в 1918 г. Ленинградский литературовед. В 1974 г. покинул Советский Союз. Автор множества публикаций. В числе прочего профессор университетов в Париже и Барселоне. Живет в Париже.

Элке Эрб — родилась в 1938 г. в Шербхе (Айфель). В 1949 г. переселилась в ГДР. Работала в издательстве. С 1966 г. занимается переводами, прежде всего, русской поэзии, и писательской деятельностью. Автор многих поэтических сборников. Живет в Берлине.

Олег Калугин — бывший генерал КГБ. В 1980-1987 гг. был заместителем начальника отдела КГБ по Ленинградской области. Во время перестройки был уволен за ряд разоблачений деятельности КГБ. Живет в Москве.

Клаус Михаэль — родился в 1959 г. Писатель и литературовед. В 80-е годы издатель оппозиционного журнала. В настоящее время занимается

исследованием альтернативной культуры ГДР в 1976-1989 гг. при Техническом университете Берлина. Живет в Берлине.

Валентин Оскоцкий — родился в 1931 г. писатель и литературный критик. Член редколлегии журнала «Знамя». Один из основателей писательского общества «Апрель». Живет в Москве.

Никита Охотин — родился в 1949 г. Филолог и архивист. Автор статей по истории русской литературы и общественной мысли XIX—XX вв. Председатель Научного центра общества «Мемориал», эксперт Комиссии по передаче архивов КПСС и КГБ на государственное хранение.

Анатолий Приставкин — родился в 1931 г. Окончил Московский Литературный институт. Писатель. Автор романов и сборников рассказов. В настоящее время принимает участие в работе комиссии, занимающейся реорганизацией российской пенитенциарной системы. Живет в Москве.

Арсений Рогинский — родился в 1946 г. Историк, архивист, филолог. В 1981 г. был осужден. Эксперт Комиссии по передаче архивов КПСС и КГБ на государственное хранение, член Комиссии пр правам человека при Президенте Российской Федерации, руководитель научных программ общества «Мемориал», член Правления международного общества «Мемориал»

Виталий Шенталинский — родился в 1939 г. По первой профессии полярный исследователь. Писатель и журналист. Автор стихотворных и прозаических сборников. С 1989 г. председатель комиссии спасения творческого наследия преследуемых писателей. Живет в Москве.

Вольфганг Ульман — родился в 1929 г. Теолог. Доцент училища иностранных языков в Берлине. Член фракции бундестага «Союз 90/Зеленые». Живет в Берлине.

Содержание

Лев КОПЕЛЕВ. Жандармы и музы	3
Каттинка ДИТТРИХ ВАН ВЕРИНГ. Вступительное слово (<i>перевод Е.Шукиной</i>)	5
Элизабет ВЕБЕР. Вступительное слово (<i>перевод А.Федорова</i>)	6
Вольфганг УЛЬМАН. Место государственной безопасности в системе диктатуры СЕПГ (<i>перевод А.Федорова</i>)	9
Ефим ЭТКИНД. «Госстрах» в литературе	17
Александр БОРЩАГОВСКИЙ. КГБ и еврейская культура	31
Валентин ОСКОЦКИЙ. Литература под пятой КГБ	37
Матиас БРАУН. «Офицеры по руководству», «оперативные работники», «неофициальные сотрудники» (Влияние МГБ на развитие литературы и искусства в ГДР) (<i>перевод А.Федорова</i>)	51
Виталий ШЕНТАЛИНСКИЙ. Арестованные рукописи	64
Олег КАЛУГИН. Дело КГБ на Анну Ахматову	72
Дёрдь ДЯЛОШ. Репрессии и терпимость: литературно-историческая параллель (<i>перевод А.Федорова</i>)	80
Арсений РОГИНСКИЙ, Никита ОХОТИН. Об архивных источниках по теме «КГБ и литература»	85
Александр ДАНИЭЛЬ. История самиздата	93
Клаус МИХАЭЛЬ. Самиздатовская литература в ГДР и влияние госбезопасности (<i>перевод А.Федорова</i>)	105
Йоахим ВАЛЬТЕР. Певчие вороны, каркающие соловьи (<i>перевод С.Гладких</i>)	124
Эльке ЭРБ. Стихотворец и доносчик (<i>перевод С.Гладких</i>)	130
Анатолий ПРИСТАВКИН. Об анкетах, и не только о них	139

**ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ И ЛИТЕРАТУРА
НА ОПЫТЕ
РОССИИ И ГЕРМАНИИ
(СССР И ГДР)**

**Составитель:
Фонд Генриха Бёлля**

**Редакторы
Е. В. Шукшина, Т. В. Громова**

**Художник
П. А. Сандомирский**

**Подписано в печать с оригинал-макета 14.08.94.
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.
Печать офсет. Гарнитура Таймс.
Усл.печ.л. 9,5. Усл.кр.-отт. 9,6. Уч.-изд.л. 10.
Тираж 3 000 экз. Заказ 661.**

**Издательство Рудомяно
ВГБИЛ имени М.И.Рудомяно
109189, Москва, Николаямская ул., д. 1.**

**Фабрика офсетной печати
249020, г. Обнинск, ул. Королева, д. 6.**

